

ЛБ13 510

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА



ДЖИОВАННИ ПАПИНИ

**ТРАГИЧЕСКАЯ
ЕЖЕДНЕВНОСТЬ**



**Б Е Р Л И Н
МСМХХІІІ**



Н (суд. упр.
19942-1)

М. 1910



ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИТАЛИЯ

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

**ДЖИОВАННИ
ПАПИНИ**

род. 1881



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ЛБ13
510

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ДЖИОВАННИ ПАПИНИ

х

**ТРАГИЧЕСКАЯ
ЕЖЕДНЕВНОСТЬ**

ПЕРЕВОД С ИТАЛЬЯНСКОГО
Ю. БАЛЬТРУШАЙТИСА, Р.
ДА-РОМА И Б. Я. ПОД РЕДАК-
ЦИЕЙ А. Л. ВОЛЫНСКОГО,
ПРЕДИСЛОВИЕ Б. ЯКОВЕНКО



БЕРЛИН МСМХХІІІ

ТРАГИЧЕСКАЯ ЕЖЕДНЕВНОСТЬ
IL TRAGICO QUOTIDIANO
РАССКАЗЫ



790018✓

ПРЕДИСЛОВИЕ.

1.

Каждый духовный руководитель бывает критиком: он отвергает, клеймит со своей точки зрения недостойное и недоброкачественное, и он делает это обыкновенно для того, чтобы расчистить почву для своего собственного построения и создать благоприятную атмосферу для распространения своего собственного credo. Критика других бывает обычно орудием и провозвестником своего собственного творчества. Но это правило, как и всякое правило вообще, имеет свои исключения. Встречаются, правда, не часто такие умы и сердца, у которых в критике сосредоточивается все усилие, все содержание, вся их оригинальность и мощь. Они бьются с пред-
рассудком, ограничивающим человеческий дух, всю свою жизнь и бьются при этом так интенсивно и так радикально, что уже сама эта борьба получает у людей, их окружающих, руководящее духовное значение и смысл. Критика первого рода методична, спокойна, уверенна: она видит всегда свой конец и чувствует близость твердой земли и найденного прибежища. Критика второго рода возбуждена и изменчива; в ней чувствуется экзальтация бесконечного отрицания, восторг вечного риска и вечной борьбы. Она не верит ни в какой мираж положительного решения, ибо знает по опыту, что он разлетится, как карточный домик при малейшем прикосновении; она не верит даже самому отрицанию, ибо знает, что и для него найдется свое отрицание. Она хочет свободы — полной и беспредельной, истины — беспредрасудочной и неукоснительной. Хочет и не находит; и снова ищет, и рвется, и бьется, и опьяняется своим беспредельным и безудержным критическим напряжением. И опьянившись им, восторгается и упиивается отрицанием всего и вся, даже отрицанием отрицания. Это не просто критика, это — вакханалия критицизма. И, как таковая, она влияет, действует, захватывает, руководит, повелевает. Разве мало знает история таких случаев, когда эта восторженная и опьяненная критика вела за собою толпы людей?!

В современной Италии наиболее видным и плодотворным представителем критики первого рода является уравновешенный Бенедетто Кроче; критика же второго рода лучше всего, рельефнее всего и безудержнее всего представлена молодым и неистовым Джованни Паппи. Кроче критикует для того, чтобы выявить истинное, подлинное, правое, красивое, освободить его от предрасудочных одежд,

незаконных ограничений, субъективистических примесей и провинциализмов. Папини критикует ради критики, ибо в критике, в отвержении старого для него истина, действительность, правда и прекрасность. Старое, то, что было, должно быть отвергаемо, ибо жизнь — это новое, не то, что было. Папини критикует потому, что в критике, в отрицании, в преодолении для него смысл жизни. Его дух никогда не доволен никаким решением, никаким ответом, никакой данностью. Для него не существует никаких предустановленных принципов, никаких категорий мысли, никаких последних ценностей. Жизнь? Но разве она в конце концов не бесконечно мертва? — Вечно новое? Но разве оно не вечно старое? — Истина? Но разве она не ложь? — Ложь? Но разве она не истина? — Прекрасное? Но разве оно не безобразно? — Безобразное? Но разве оно не прекрасно? Это не просто критика, это — вакханалия критизма и отрицания, так сказать, Жизнь-Критика, Бытие-Критика, Танталовы муки и в то же время Танталовы наслаждения критики.

В Папини живет дух умственного нетерпения и недоверия. Папини — это типичное *enfant terrible* философии. И так именно он сам понимает себя. «Полагаю, пишет он, что моя миссия, — если только мне разрешат говорить о миссии и при том о моей миссии, — уподобляется миссии дьявола в обширной вселенной господя бога. Отрицать, пробуждать, тревожить и дерзать. Возмущаться, толкать ко злу (в теории — к неправде, к абсурду). Разверзать бездны, за руку проводить чрез мрак, низвергать в преисподнюю ненасытимой индивидуальности из ненависти к раю единства и порядка. Но ведь у бытия существуют и эти другие лики, и немногие имеют достаточно любопытства и храбрости, чтобы приблизиться к ним. Я подстрекну к этому, я заставлю насильно. Ведь нужно же «ничто» Мефистофеля для того, чтобы Фауст мог обрести свое «все». Я беру на себя эту обязанность: я — жертва, своего рода искупляющий Христос. Я «нет», дурное «нет», чтобы другой мог за моей спиной открыть новые «да». Я — Иуда истинной мысли и принимаю сей позор с удовольствием, даже провозглашаю с гордостью. Мое дело из тех, каких не принимают на себя мыслящие праведники. Я приспособлен к роли падшего рыцаря: у меня в крови болезнь риска, и я боюсь только одного, как бы не выздороветь. Между столькими людьми, которые ницут и повторяют, подправляют подтвержденные, древние и надежные истины, между столькими головами, которые мыслят, как одна голова, между столькими мозгами, которые работают, как один мозг, между столькими людьми, которые хотят только сохранять, приводить в порядок и стрелять прямо по еще более прямой дорожке, нужен все же один беспорядочный и мефистофельский человек, который говорит на всякое да — нет, который на каждой заре вспоминает ночь, который трезвонит и стучит во время всякой величественной церемонии, который крушит, ломает и приводит в расстройство, чтобы возникла надобность в новом порядке и новом устройстве. Один такой человек ведь не составит чересчур много. Среди стольких серьезных экспрессий — столько смехок, среди такой уверенности — один только тревожный крик, среди такого ликования по поводу великолепной судьбы и стольких прогрессов — один только раскат язвительного хохота,

чтобы задуть рыдание. Этого не будет чересчур много, о, степенные мужи логики и последовательности. Соболагодите войти: в моем причудливом шалаше есть кое-что и не для смеха»¹⁾.

2.

Что больше всего поражает, привлекает и захватывает у Папини, так это его язык, блестящая, оригинальная способность словесной экспрессии. Язык Папини не отличается ни чистотой, ни ясностью, но он полон творчества, красочности и вулканической силы. Читая его, можно легко увлечься самым словесным развитием темы, творческими изгибами и перипетиями самого словесного изложения. Его невольно хочется сравнить в этом отношении с Андреем Белым, но Папини, несомненно, превосходит в виртуозности своего русского собрата. И вполне в порядке вещей, что Папини неограниченно пользуется этим своим даром для проведения своих ультра-критических тенденций в публику и для распространения своих парадоксальных идей.

«Храбрости, храбрости, храбрости, — и снова храбрости», так поет душа Папини каждоминуто, при всяком своем действии, при всяком своем жесте. И вот он дерзает во всем и повсюду, за что бы ни брался: и в философии, и в belles lettres, и в политической публицистике. Дерзает отрицать до конца, даже более того, отрицать безмерно и безудержно. А в таком отрицании и чрез такое отрицание дерзает утверждать и проповедывать: ибо в конце концов всякое решительное «не так» или «не надо» почти что высказывает одновременно и столь же решительное «вот как» или «да будет это».

«Философы хотят объяснить все, но в общем не заботятся о том, чтобы дать объяснение себе самим и своей философии», говорит Папини²⁾. Потому-то они и не видят, что их философские старания не достигают ничего. Но убедиться в этом не трудно: достаточно только внимательно обозреть то, как обосновывают и возводят свои системы так называемые великие мыслители, и мы констатируем их полную беспомощность перед лицом основных задач и глубочайших идейных противоречий. Не теряя времени, Папини берется за дело и показывает красноречиво, что это так, сначала на примерах Канта, Гегеля, Шопенгауэра, Конта, Спенсера и Ницше³⁾, а потом и на некоторых других⁴⁾. Но собственно, чего же хочет философия? Через все ее определения, утверждает Папини, красной нитью проходят три следующих стремления, три следующих основочерты и цели: быть универсальной, рациональной и реальной. Ни одна из этих целей никогда не достигалась ею. Философия, дающая себе ясный отчет в себе самой, неизбежно должна разочароваться и признать себя побежденной. Философия осуждена на смерть. И признаки этого на-

¹⁾ L'Altra Metà, p. 14—16.

²⁾ Sul pragmatismo, p. 71.

³⁾ Il crepuscolo dei filosofi (1900), p. 1—261.

⁴⁾ Ibid., p. 28.

лицо: 1) бесплодность, ибо основные философские формулировки исчерпаны; 2) принятие художественных тенденций, указующее на желание излиться в иные формы деятельности; 3) растущая практическая заинтересованность, отодвигающая на задний план прямую цель философии; 4) растущее устремление во-внутрь (антирационализм); 5) возвращение к первоначальным позициям (к анимизму — в метафизике, недоказуемости морального закона — в этике, наивному реализму в гносеологии и т. д.)¹⁾.

Значит ли это, что философия должна действительно умереть? Препятствия философии — да, заявляет Папини; но отнюдь не философия вообще. Философия должна переродиться и жить совсем новой жизнью, новыми задачами, новым содержанием. И ей предстоит сделать это трояким образом, по трем следующим направлениям. Прежде всего, оставаясь делом чисто-теоретическим, она должна «с головой окунуться в идейные приключения»: «почему они должны быть менее плодотворны, чем любовные или военные приключения, — эти выступления à la Don Quichotte с оружием из жести, но с отчаянной верой в сердце»...²⁾ Нужно дерзать, следуя всеобщему мировому закону противоречия. «Придай совершенство тому, что хочешь уничтожить» Попробуем с тем, чтобы достигнуть нужной нам цели, преследовать противоположную цель и достигнуть ее. Попробуем «для того, чтобы избежать какого-либо результата, поставить себе его в виде цели»³⁾. И, применяя это непосредственно к нашему спекулятивному устремлению, попробуем «для того, чтобы действительно познать и постигнуть бытие, исследовать небытие, — чтобы уразуметь по-стороннее, искать по-ту-стороннего, — для уразумения дня искать ночи, для «да» искать «нет», для права — обратного... Необходимо исследовать отрицательные понятия (ничто, невозможное, бесполезное, бессмысленное, плохое, ошибочное, безумие...), то-есть Другую Половину, чтобы проникнуть в половину освещенную, в сферу положительных, упорядоченных, принятых, удобных понятий, с которыми мы живем и хотим жить. Слишком большой свет ослепляет: напустим же тьмы в наши очи. Быть может мрак осветит нас»...⁴⁾.

«Когда спускаешься в глубь проблемы проблем, говорит Папини, то видишь, что единственной реальностью, действительно существующей и подлинно важной, является наше я. Единственный долг человека состоит в том, чтобы расширять, возвышать, обогащать, совершенствовать это я, составляющее наше единственное богатство и нашу единственную надежду. Мы все должны будем работать над тем, чтобы стать более интеллигентными, любознательными, чувствительными, более личными, словом, более гениальными. Ну, а для нас высшим проявлением гения является искусство, и потому мы хотим больше всего, чтобы в мире жили и побеждали художники и поэты»⁵⁾. Истину

¹⁾ Ventiquattro cervelli (1913), p. 73 ss., 115 ss., 137 ss., 147 ss., 187 ss., 291 ss.

²⁾ Sul pragmatismo, p. 3—44, 9 ss.

³⁾ L'Altra Metà, p. 13—14.

⁴⁾ Ibid., p. 56—57.

⁵⁾ Discorso di Roma (5 rist., 191), p. 23—24.

следует искать в поэзии, в искусстве, говорит Папини, а красоту в философии. Разумеется, ни искусство, ни философия не воплощают своих задач идеально, ибо и в искусстве есть выбор, и в философии есть заинтересованность; но во всяком случае это — наиболее надежные пути к истине и прекрасному.

3.

Дерзкий и крайний теоретический негативизм живет у Папини в самом тесном и неразлучном содружестве с поэтическим индивидуализмом и с магическим прагматизмом. Благодаря такому взаимопроникновению в его душе отрицательного и положительного, разрушения и созидания, он является, как он и сам то ясно сознает, философским представителем футуризма.

«Я футурист, — так пишет Папини, — потому, что футуризм означает абсолютную свободу, освобождение от исторических кладбищ и удушающих законов. Я футурист потому, что футуризм означает протерение новых путей к будущему и отчаянное искание новых чувств и эмоций и новых форм выражения. Я футурист потому, что футуризм означает полное приятие новейшей цивилизации со всеми ее гигантскими чудесами, фантастическими возможностями и заставляющими трепетать красотою. Я футурист потому, что я устал от старых мер, от тысячелетних общих мест, жалобных песен, кадансов и припевов наших отцов, дедов, прадедов и предков — потому, что мне надоели слабые идилии, ребяческие сентиментализмы, ложная глубина филистерской серьезности, гармонические песни, приятная музыка, милые картинки, фотографическая, декоративная, анекдотическая и сводническая живопись. Я футурист потому, что знаю, что от слишком большой дозы культуры окостеневает мозг, иссякает вдохновение, вырастает неуверенность и разрушается темперамент. Я футурист потому, что преувеличенное поклонение «славному прошлому», золотым векам и вечной и бессмертной академии из-за тысячи засад умерщвляет талант, оподляет душу, сдерживает вдохновение и кончается обеспокоением народов, не сумевших опомниться вовремя. Я футурист потому, что футуризм означает любовь к риску, к опасности, к неиспытанному, к неиспробованному, к недостижимым высотам и неизмеренным безднам. Я футурист потому, что футуризм означает бесстрашие перед смехом, презрением и ненавистью, — означает преодоление привычек хорошего воспитания, изнуряющего и кастрирующего режима хорошего общества. Я футурист потому, что футуризм означает жажду более обширной цивилизации, более интенсивной деятельности, большего, чем наше, искусства, более богатой чувствительности, более героического мышления. Я футурист потому, что футуризм означает Италию, — Италию, более великую, чем прежняя Италия, более достойную всего предыдущего и своего будущего места в мире, более современную, более прогрессивную, более руководящую другими нациями»...

Папини — не только автор философских критик и отрицаний, не только начертатель философских программ и инициатор особого фи-

лософского течения в Италии, а и писатель-художник, из-под пера которого вышел целый ряд беллетристических произведений, сохраняющих тесную связь с философским устремлением их автора: поэтическое творчество Папини есть выражение и применение его философского мышления. Это, так сказать, философская беллетристика. И в этом, собственно, как раз и заключается новизна, своеобразие и незаурядность его поэтического творчества.

«Я создал новый для Италии род абсурдных, невероятных и нереальных историй»¹⁾ — так характеризует сам Папини свое беллетристическое творчество. И это совершенно верно; но это чисто литературная характеристика. И потому он подкрепляет ее дальнейшим пояснением: «есть во мне потребность выражать так, в фантастических формах и в форме парадоксальных и трагических сплетений, ту дозу философского лиризма, которая не нашла себе иного выхода... Кто изучил бы хорошенько их все, нашел бы в них не только стилизованное расширение моего я, но также и некоторую теорию мира, некоторую программу жизни, некоторое квази-теоретическое предначертание отношений и потребностей, свойственных не только моему духу, но и всем тем, кто понимает жизнь, как усилие и страдание, идущее сквозь тайну по направлению к ничто»²⁾. Это, по его же собственному определению, «философские сказки»³⁾, поэтические рефлексии личного характера, имеющие в виду всегда его теоретические идеи. Каждая из этих сказок или новелл должна в персонально-поэтическом образе представить и вызвать какое-нибудь сомнение, выдвинуть какую-нибудь проблему или какое-нибудь решение, дать почувствовать какое-нибудь событие, факт или какое-нибудь бытие во всем его целом, во всей его глубине и живости, не нарушаемой никаким схематизмом сухой спекуляции.

Творя и работая в этом направлении, Папини написал большой роман, который сам считает самым значительным из своих произведений⁴⁾. И действительно, можно без колебаний признать этот роман квинт-эссенцией и апогеем всего его творчества.

4.

В том отрывке о футуризме, который цитировался нами, ясно прозвучала националистическая нотка и мечта о будущей, новой Италии, более великой, чем Италия недавнего прошлого. Эта нотка проскользнула там не спроста и не случайно. В лице Папини мы имеем не только философского мыслителя и не только беллетриста, но и политического деятеля. Достаточно сказать, что он — один из главных вождей и даже прямо-таки главный вождь молодого националистического движения в Италии. Этому движению посвящено немало его писаний и немало его публичных выступлений и речей. В начале

эта деятельность Папини носила узко-политический, классовый характер, будучи сосредоточена главным образом на пропаганде и защите материальной стороны национализма. Но с течением времени и в связи с расширением общих духовных горизонтов молодого писателя и его общим духовным развитием эта сторона националистической программы и деятельности стала отступать на задний план, а вперед выдвигаться чисто-духовный смысл национализма, то-есть возрождение, укрепление и распространение национального духа, национального творчества, национальной жизни. И тут невольно стали намечаться некоторые пункты, духовно сближающие цели Папини с живым и революционным демократизмом, врагом которого он чувствовал себя по незрелости своих чувств и мыслей в первый период своей литературной карьеры.

Б. Яковенко.

¹⁾ Le memoire d'Iddis, p. 79—81.

²⁾ Parole e sangue, p. 6.

³⁾ Il Tragico quotidiano (2 ed., 1913), p. V.

⁴⁾ Ibid, p. VI. Этот роман озаглавлен: Un uomo finito.

Некоторые писатели издают свои книги без предисловий; они или чересчур горды или очень ленивы или же плохо воспитаны. Другие дают одно лишь предисловие; это — наивные и поверхностные писатели.

Книга никогда не пишется для одного человека или для одного определенного класса людей. В одной книге может заключаться десять книг, и каждая из них предназначена для десяти различных слоев читателей, которым она понравится или не понравится по ряду различных мотивов.

Ради доброго приема, самозащиты и апологии своего произведения, следует обращаться к многочисленным классам читателей, и для каждого из них нужно уметь найти наиболее подходящие похвалы, извинения, доводы и софизмы.

Для этой книги я удовлетворюсь тремя предисловиями, но, если этот обычай привьется, я напишу когда-нибудь книгу, которая вся будет состоять из предисловий.

ПЕРВОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ.

К поэтам.

Ночью самого легкого звука достаточно, чтобы разбудить меня. Достаточно, чтобы сверчок наполнил спокойный воздух монотонной нежностью своего трепетного стрекотанья, чтобы дуновение ветра чуть сильнее пошевелило листья моих любимых тополей. Тогда я больше уж не засыпаю и брожу по полям, по пустынным дорогам, размышляя о далеких радостях, о далеких горестях, и улыбаюсь, и вздыхаю, вспоминая слова, которых сейчас повторить я не сумею. Я ласкаю руками высокий, гладкий тростник, что растет вдоль каналов, и ежеминутно останавливаюсь, будто жду, что меня окликнут. Время от времени ко мне доносятся ночные звуки: где-то плачет ребенок, журчит фонтан, хрипло кричит ночная птица.

В ожидании утра я начинаю рассказывать себе фантастические истории, — а там, кончается сказка, а с ней и звезды поспешно покидают небо.

* * *

Так родились эти странные сказки и тревожные беседы. Они родились в бессонные ночи, когда я уже не спал, но еще не бодрствовал, когда легче доходили до затуманенного сознания архаические голоса природы и страшные человеческие тайны. В те часы люди — мои собратья! — спали, и в ночной тиши мне яснее видны были безмолвные нити их судеб.

2 Папины, Трагическая повседневность



В те часы я был с вами, о поэты, словно бы я не был одним из вас! И я понял, почему именно ваши уста были избраны для слов, которых другие не смеют или не умеют сказать. Многие из этих страниц написаны мною для себя, но вы найдете и страницы, писанные для вас. Зато мне простится и то, что прозу свою я не переделал в одиннадцатисложные строфы, и то, что я пренебрег тем тонким, прославленным и коварным орудием, которое уподобляет вас кузнецам и узникам.

ВТОРОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ.

К философам.

Через много лет, в ясный летний вечер, несомненно явится человек, который спросит меня: Как сделать свою жизнь необыкновенной? И я несомненно отвечу ему так: для этого нужно сделать необычные ощущения и действия обычными, а обычные — редкими!

Когда человек этот придет, я изложу ему свою веру, но она уже сложилась во мне и сейчас. Наше удивление и наш страх происходят от того, что явления, порождающие эти чувства, редки. И ничто не может заставить нас верить, что в некоторых повседневных явлениях гораздо больше удивительного, чем в самых странных похождениях, в самых изумительных зрелищах. Некоторые испытываемые нами ежедневно и совершенно не трогающие и не возбуждающие нас ощущения, вероятно, очень поразили бы нас, если бы испытывались лишь немногими людьми и только в редких случаях. Мы живем среди вещей, которые не кажутся нам чудесными только потому, что слишком часто повторяются. Мы живем в кошмаре проблем, под вечной угрозой загадочного приговора, и мы не плачем и не дрожим лишь потому, что все это сделалось частью нашей повседневной жизни и так вошло в нее, что мы об этом больше не думаем.

С такими мыслями я написал новеллы, помещенные в этой книге. Я задался целью породить в читателе удивление и ужас. Но я не хотел прибегать для этого к странным похождениям, к необыкновенным завязкам, как это делают авторы так называемых фантастических новелл. Изумительное и ужасное в их рассказах — не исключая и великого, то-есть результат чего-то, хотя и

необыкновенного, но почти всегда находящегося вне души героев. Ужасное заключается в странности необычных ситуаций, в которые попадают обыкновенные люди. Изумление рождается в момент внезапного соприкосновения обычных умов с необычным для них миром. Обыкновенно фантастическое имеет источник чисто материальный, внешний, объективный.

Я хотел найти иной источник. Я хотел найти фантастическое в душе самих людей; я решил заставить людей мыслить и чувствовать необычно в обычной обстановке. Вместо того, чтобы вести своих героев через ряд фантастических походов в никогда невиданные миры, я оставил их в их обычной, повседневной обстановке и заставил их самих обнаружить все то, что есть в этой обстановке таинственного, грубо-смешного, ужасного. Я поставил людей с обостренным сознанием, с тонкой и вместе с тем детски-наивной чуткостью перед их собственным бытием, их собственным миром. Мы привыкли к нашему существованию и к этому миру и перестали видеть их тени, пропасти, загадки и трагедии; чтобы обнаружить теперь тайны обычного, нужны незаурядные умы.

Видеть обыкновенный мир в необычном свете: вот истинная греза духа. Думать о том, о чем никто не думает; изумляться тому, на что никто не обращает внимания; выискивать то, что для всех представляется естественным; наслаждаться тем, что всем кажется незначительным. Все это должен делать поэт и философ, все это делает дитя. Много раз говорилось, что поэт должен смотреть на мир, как ребенок, но немногим поэтам удавалось отрешиться от своей юности, от своей зрелости. Чтобы уметь изумляться, нужно уметь забыть: искусство забвения будет предшествовать искусству удивления. Но люди больше стремятся к искусству воспоминания и недостаточно смелы для внутренних ауто-да-фе. Поэтому они проходят, не оборачиваясь, мимо тайн и осуждены на кары, о которых не размышляют. Мир в их глазах банальная схема, в которой интересного становится с каждым днем все меньше и меньше, из которой с трусливым упорством изгоняются скучные и трагические сомнения

и тревоги. В определенном возрасте их умственные ворота замыкаются, и только те, кто имеет смелость или счастье остаться детьми, еще делают открытия. «Мы не так легковжны, как дети — говорит А. Рейд — не потому, что знаем больше их, а потому, что меньше их можем узнать».

Для сохранения радости в мире нужно, чтобы поэты и философы сохранили свою детскость. Нужно, чтобы они ежедневно заново открывали мир, чтобы они продолжали задавать беспокойные детские вопросы, кажущиеся глупыми осторожным отцам и невежественным матерям. Нужно, чтобы хоть кто-нибудь в ужасе отступил перед спокойной бессознательностью людей.

* * *

Сказанное выше отчасти оправдывает заглавие этой книги. Некоторые из этих новелл, действительно, имеют целью подчеркнуть в природе и жизни невидимое, мучительно-загадочное.

Я твердо верю в превосходство этого внутреннего фантастического над внешним фантастическим других новеллистов. Я думаю, что страх сильнее, когда он внушен размышлением о явлениях и фактах, представляющих удел общий, чем если он является в результате изображения положений, в которых трудно очутиться. Человеческая душа больше самых обширных империй, и если мы хотим делать дальнейшие открытия в этом мире, то мы без страха должны углубляться в нее. «Умей видеть — сказал В. Блэк, — мир в песчинке, небо — в диком цветке». Новый же императив гласит: умей видеть весь мир в себе самом.

ТРЕТЬЕ ПРЕДИСЛОВИЕ.

К людям с эрудицией.

На этих страницах вы встретите некоторые из образов, над которыми много было проведено бессонных ночей: Гамлет, Дон-Жуан, Вечный Жид, Дьявол. Если библиографический зуд, свойственный aficionados сравнительной литературы, заставит перелистать эту книгу, вы сразу заметите, что эти воображаемые жители Dreamland'a, прийдя ко мне, изменились душой и телом. Привыкнув к метаморфозам героев фольклора, вы вряд ли будете скандализованы этим. Все мы имеем права на этих божественных и близких детей поэтов. По примеру прочих и я сделался их приемным отцом и вообразил, что могу заставить их жить и говорить по-моему. Гордость помешала мне придумать новые имена этим новым созданиям: мне казалось, что гораздо труднее и смелее вдохнуть новую жизнь в образы, уже одаренные столькими жизнями, чем создавать образы новые.

Удался или не удался мой опыт, решать, конечно, не вам.

I.

НЕВОЗВРАЩЕННЫЙ ДЕНЬ.

Я знаю много старых и прекрасных принцесс, но лишь из тех крайне бедных, что с трудом могут держать одну маленькую горничную, одетую в черное, и принуждены жить в какой-нибудь развенчанной старой тосканской вилле, в одной из тех заброшенных вилл, где два пыльных кипариса стоят на страже у решетки в каменной ограде.

Если вы встретитесь с ними в гостиной какой-нибудь овдовевшей графини и не по модному назовете их высочествами и заговорите на французском языке, на этом международном, классическом, бесцветном языке, которому вы можете научиться у аббата Мармонтеля, то мои принцессы почти всегда откроют вам свои сердца, и, проникнув в их бедные души, — маленькие и полные пыли и безделушек, как часовни семнадцатого века, — вы убедитесь, что жизнь приемлема и что, рождая нас на свет, наша мать была не так глупа, как могло казаться.

Сколько необычных тайн прошептали мне мои прекрасные и старые принцессы. Они очень любят пудру, но, пожалуй, еще больше любят беседу, и хотя все они немки, только одна русская, их восхитительный французский язык старого режима вызывает во мне иногда далеко не обычные ощущения, и порою мое сердце тает, и, сознаюсь, у меня почти возникает желание плакать слезами глупого влюбленного.

Однажды вечером, не слишком поздно, в гостиной одной тосканской виллы, сидя в старинном кресле у столика, где мне был предложен жидкий чай, я молчал в обществе одной старой и самой прекрасной из моих принцесс.

Она была в черном, ее лицо было закрыто черной вуалью и ее волосы, седые, как мне было известно, и всегда слегка курчавые, были закрыты черной шляпой. Казалось, она была окружена как бы ореолом темноты. Это мне нравилось, и я старался думать, что эта женщина была лишь призраком, вызванным моей собственной волей. Это было не трудно, так как в комнате было почти совсем темно, и единственная зажженная свеча слабо освещала только ее напудренное лицо. Все остальное сливалось с сумраком, и мне могло казаться, что я просто вижу перед собой висячую голову — голову, отделенную от туловища и висевшую приблизительно на один метр от земли.

Но принцесса начала говорить, и всякая другая фантазия была невозможна в этот миг.

«Послушайте, господин, — сказала она, — что со мной случилось сорок лет тому назад, когда я была еще достаточно молода, чтобы иметь право казаться безумной». И своим слабым голосом она рассказала мне одну из своих бесчисленных любовных историй: какой-то французский генерал из любви к ней стал актером и был убит ночью пьяным паяцом.

Но я уже знал ее выдумки в этом роде, и мне хотелось чего-нибудь более странного, более отдаленного, более неправдоподобного. Принцесса хотела быть любезной до конца.

«Вы принуждаете меня, — сказала она, — поделиться последней тайной, какая у меня остается и которая всегда оставалась тайной именно потому, что она — самая неправдоподобная из всех. Но я знаю, что через несколько месяцев я должна умереть, до конца зимы, и я не уверена, что найду другого человека, которого занимали бы нелепые вещи, как вас.

«Эта моя тайна началась в двадцать два года. Я была в то время самой прелестной принцессой в Вене и еще не успела убить своего первого мужа. Это произошло позднее, через два года, когда я влюбилась в... Но вы уже знаете эту историю. Passons. Итак, случилось, что к концу моего двадцать второго года ко мне явился какой-то старик в орденах и без бороды и попросил у

меня позволения поговорить со мной две минуты наедине. И как только мы остались одни, он сказал мне: «У меня есть дочь, которую я безмерно люблю и которая очень больна. Мне необходимо поддержать ее жизнь и силы, и вот я стараюсь купить годы молодости или достать их взаймы. Если вы хотите одолжить мне один год из ваших лет, то я вам верну его мало-по-малу, день за днем, прежде, чем кончится ваша жизнь. Когда вам исполнится двадцать два года, то, вместо того, чтобы вступить в двадцать третий, вы окажетесь старше на один год и вступите в двадцать четвертый. Вы еще очень молоды и почти не заметите скачка, но я вам верну сполна все триста шестьдесят пять дней, по два или по три сразу, и состарившись вы получите возможность по вашему усмотрению переживать часы подлинной молодости, неожиданный возврат здоровья и красоты. Не думайте, что вы разговариваете с насмешником или дьяволом. Я просто-на-просто — бедный отец, воссылавший столько молитв всевышнему, что ему дана возможность делать то, что невозможно другим. С большим трудом я уже собрал три года, но мне нужно еще много. Дайте мне один год из ваших, и вы никогда не раскаетесь».

«До этого времени я привыкла к странным происшествиям, и в среде князей, где я жила, ничто не считалось невозможным. Поэтому я согласилась на странный заем и через несколько дней стала старше на один год. Этого почти никто не заметил, и до сорока лет я весело переживала свою жизнь, не прибегая к году, который я отдала на хранение и который мне обязались возвратить.

«Старый господин оставил мне свой адрес вместе с контрактом и просил меня предупредить его по крайней мере за месяц, когда я пожелаю день или неделю молодости, обещая мне возместить то, что я потребую, в заранее условленное мгновение.

«После моего сорокового года, когда моя красота готова была поблекнуть, я удалилась в один из немногих замков, остававшихся у моей семьи, и ездила в Вену лишь дважды или трижды в год. Я заблаговременно писала моему должнику и потом отправлялась на придворные балы, в столичные гостиные, молодая и красивая, какую я должна

была быть в двадцать три года, изумляя всех, кто знал мою красоту в упадке. Как все было странно накануне моего появления. Вечером я засыпала усталая и отцветшая, как всегда, а утром вставала радостная и легкая, как птица, недавно научившаяся летать, и бежала к зеркалу. Морщинки исчезли, у меня было свежее и нежное тело, волосы стали совсем светлыми, и губы были красивые, такие красивые, что я сама была готова неистово целовать их. В Вене поклонники теснились вокруг меня, кричали от изумления, обвиняли меня в колдовстве и, в сущности, ничего не понимали. Но лишь только начинал иссякать срок молодости, которого я требовала, я садилась в карету и скакала в замок, где я никого не стеснялась. Однажды молодой чешский граф, жестоко влюбившийся в меня в одну из моих вылазок в Вену, ухитрился, не знаю как, проникнуть в мою комнату и чуть не умер от изумления, увидев, насколько я была некрасивее и старше той, кем он опьянялся среди улиц Вены.

«Никому с тех пор не удалось нарушить мое добровольное затворничество, которое прерывалось только странной радостью и глубоким унынием редких промежутков молодости в плачевном беге моего неизменного упадка. Можете представить эту мою фантастическую жизнь в долгие месяцы одинокой старости, лишь изредка прерываемой блуждающими огоньками немногих дней красоты и страсти.

«На первых порах эти триста шестьдесят пять дней казались мне неисчерпаемыми, и я не думала, что когда-нибудь они могут кончиться. Поэтому я слишком расточала мои сбережения и писала слишком часто таинственному Должнику Жизни. Но он ужасно точный человек. Я как-то заглянула к нему и видела его счетоводные книги. Такие же контракты он заключил не со мной одной, и я знаю, что он крайне аккуратно отмечает убыль своей дани. Я видела даже его дочь: бледную, бледную женщину, сидевшую на заставленной цветами террасе.

«Я никогда не могла узнать, откуда у него берется жизнь, которую он возвращает так точно дневными взносами, но у меня есть некоторое основание думать, что

он прибегает к новым долгам. Кто были эти женщины, одолевшие ему возвращенные мне дни? Мне очень хотелось бы познакомиться с кем-нибудь из них, но, как часто и искусно я ни допытывалась, мне ничего не удалось узнать. Но, может быть, они не так странны, как я думаю.

«Во всяком случае, этот человек чрезвычайно интересен, что не мешает ему отлично вести свои счета. Вы не можете представить себе, как ужасна стала моя жизнь, когда со спокойствием банкира он объявил мне, что в моем распоряжении у него осталось всего одиннадцать дней. За весь этот год я ни разу не писала ему, и у меня была минута искушения подарить ему оставшиеся дни и не мучить себя больше. Вы отлично понимаете причину, не правда ли? Ведь всякий раз, когда я снова становилась молодой, миг пробуждения казался все мучительнее, потому что разница между моим обычным состоянием и моими двадцатью тремя годами с течением лет становилась все значительнее.

«С другой стороны устоять было невозможно. Как вы можете думать, что бедная, одинокая старушка откажется от двух или трех дней красоты и любви, изящества и радости? Быть любимой один день, желанной один час, счастливой один миг! Вы слишком молоды, чтобы понять весь мой восторг.

«Но дни подходят к концу, — мой кредит скоро кроется навсегда, навеки. Подумайте: я могу требовать только один день. После этого дня я буду окончательно стара и обречена на смерть. День света, и потом сумрак навсегда. Взвесьте хорошенько, я вас прошу, всю непредвиденную трагедию моей жизни, прежде, чем потребовать возвращения этого дня... Но, когда я его потребую, что я буду делать с ним? Вот уже более трех лет, как я не была молода, и в Вене больше почти никто не помнит меня, и вся моя красота показалась бы призрачной. И все же мне нужен возлюбленный, смелый возлюбленный, полный огня. Еще раз я должна почувствовать ласку. Это мое морщинистое лицо еще раз станет свежим и румяным, и мои губы еще в последний раз будут сулить наслаждение. Бедные, бледные и сморщен-

ные губы! Они хотят быть румяными и теплыми еще один день, один единственный день, для последнего любовника, для последних губ.

«Но я не могу решиться. У меня нет сил истратить последнюю мелкую монету истинной жизни, какая у меня остается, и я не знаю, как ее истратить, и я горю безумным желанием истратить ее»...

Бедная и милая принцесса. Она уже несколько мгновений приподняла вуаль, и слезы провели тонкие борозды по пудре лица. В этот миг рыдания, как аристократично она ни подавляла их, помешали ей продолжать. И тогда мною овладело глубокое желание во что бы то ни стало утешить милую старушку, и я припал к ее ногам, — к ногам морщинистой и одетой в черное принцессы, — и я сказал, что буду любить ее глубже всякого безумца, и я самыми нежными словами просил ее отдать мне, одному мне, последний день ее прекрасной молодости.

Я не помню точно всего, что я ей сказал, но мое движение и мои речи глубоко тронули ее, и парой несколько театральных фраз она позволила мне быть ее последним возлюбленным, на один только день, через месяц. Она назначила мне свидание на определенное число в той же вилле, и я простился в большом замешательстве, поцеловав ее худые и бледные руки.

Когда я возвращался в город ночью, не совсем полная луна неотступно глядела на меня с жалостью, но я слишком много думал о прекрасной принцессе, чтобы обратить на это должное внимание.

Этот месяц был очень долог, это был самый долгий месяц в моей жизни. Я обещал своей будущей возлюбленной не видеться с нею до условленного дня, и я сдержал свое рыцарское слово. Несмотря на все день настал и был самый длинный день этого длинного месяца. Но в конце концов настал и вечер, и, одевшись как можно наряднее, с дрожью в сердце и неверным шагом я отправился в виллу.

Издали я увидел ярко как никогда, освещенные окна, и приблизившись нашел решетку открытой и балкон утопавшим в цветах... Вошел в виллу, и меня ввели

в гостиную, где в двух фантастических люстрах горели две свечи.

Мне приказано было ждать, и я ждал. Никто не являлся. Весь дом был безмолвен. Свечи пылали, и цветы благоухали в пустыне. Через час волнения и ожидания я не в силах был сдерживать себя и вошел в столовую. На столе были приготовлены два прибора, и цветы и плоды в большом изобилии. Я перешел в маленькую, нежно освещенную и пустынную гостиную. Наконец, я добрался до двери, которая, как мне было известно, вела в комнату принцессы. Дважды или трижды постучал, но не получил ответа. Тогда я проникся отвагой, полагая, что возлюбленному можно позабыть про этикет, и я открыл дверь и приостановился на пороге.

Комната была наполнена пышными платьями, которые были разбросаны всюду, словно в бешенстве грабежа. Четыре канделябра бросали радостный свет кругом. Принцесса протянулась в кресле перед зеркалом, одетая в одно из самых удивительных платьев, какие мне приходилось видеть.

Я окликнул ее, и она не отвечала.

Подождал, тронул, не шевельнулась.

И тогда я заметил, что у нее было маленькое и бледное лицо, каким я видел его всегда, лишь несколько печальнее обычного и слегка испуганное. Я положил руку на ее рот и не почувствовал дыхания, положил на грудь и не почувствовал никакого биения.

Бедная принцесса умерла, — умерла тихо, скоропостижно, поджидая перед зеркалом своей красоты.

Письмо, которое я нашел на полу подле нее, разъяснило мне тайну ее неожиданной кончины.

Оно содержало несколько строк, набросанных прямым, военным почерком, и сообщало:

«Дорогая принцесса, мне искренно прискорбно, что не могу вернуть вам последний день, который я вам должен. Я больше не нахожу достаточно умных женщин, которые поверили бы моему невероятному обещанию, и моя дочь в опасности. Сделаю еще несколько попыток и сообщу вам результаты, потому что мне очень хотелось бы удовлетворить вас до конца».

II.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ СМОГ БЫТЬ
ИМПЕРАТОРОМ.

Читатель-человек, кто бы ты ни был, я хотел бы сейчас встретиться с тобой лицом к лицу, пристально взглянуть тебе в глаза, крепко сжать своими руками твои и тихо спросить тебя: Думаешь ли ты, что ты живешь? Что ты живешь настоящей, глубокой, цельной жизнью? И есть ли это та самая красивая, большая жизнь, о которой ты мечтал в пылкие ночи юности?

И еще тише, шопотом, я хотел бы спросить тебя: Был ли ты молод? Чувствовал ли ты, что в тебе, внутри тебя, в крови у тебя что-то бродило, кипело, волновалось, трепетало, ища выхода и стремясь наводнить весь мир морем огня? Чувствовал ли ты когда-нибудь после заката, после чтения стихов, что ты именно и есть первый человек, тот, кто открыл жизнь, кто открыл мир? И не казалась ли тебе жалкой жизнь на земле, и не казался ли тебе маленьким этот мир? Не желал ли ты прекрасной смерти во имя любви к прекрасной жизни? Не испытал ли ты пресыщения Александра при виде далекого неба?

Обо всем этом желал бы я спросить тебя, о трусливый читатель, жалкий, опустившийся человечек, держащий перед собою эти страницы и прислушивавшийся к биениям чужой жизни, потому что сам ты не способен быть деятельным, не способен жить за свой счет. Не кажется ли тебе трусостью, низостью, гадостью то, что ты сейчас делаешь? Ты уселся на стуле, перед тобой спитые листки, на них черные знаки, ты пробегаешь глазами эти знаки, и душонка твоя улыбается или проливает слезы, по мере того как эти знаки насильно пробуждают твое

сонное воображение. И ты воображаешь, кажется, что читаешь книги, ты живешь? И выйдя на улицу, ты с величайшим презрением будешь смотреть на жалкую толпу, которая не живет духовной жизнью, не занимается психологией, не питается литературой. — Я, — говоришь ты сам себе, — утонченный интеллигент, мыслитель, аристократ, словом человек высшего ранга, член избранного круга. Мир вращается вокруг меня, мир создан для меня. И когда в мире не все в порядке, я даю пинка декоратору и сам переделываю все по-своему. Так я развлекаюсь и забавляюсь. В доме моем вы найдете копии знаменитых картин и хорошие издания известных писателей. Высокий воротничок и туманные речи — признаки моего достоинства; я царствую над временем, над духом, над вечностью.

Говоришь ли ты себе все это, жалкий читатель? Возможно, что да. Так я полагаю, так представляю себе, так желал бы. Потому что ведь для тебя я все это говорю и хотел бы, чтобы ты был передо мной и мог чувствовать на своем лице горячее дыхание моего презрения. Я презираю тебя, читатель, и причина моего презрения ужасна, ненавистна, мучительна: причина та, что я очень похож на тебя, читатель, что я почти таков же, как ты, что, может быть, я — ты...

* * *

Ну что ж, видишь, я принимаю твою роль. И принимаю ее без страха, хоть она и не из веселых. Я не боюсь своих вопросов. Для того и взялся я писать эти страницы, чтобы заставить себя ответить на них. И еще раз я громко спрашиваю себя: Думаешь ли ты, что ты живешь? Думаешь ли, что живешь большой, глубокой, интенсивной жизнью?

Отвечаю: Нет, я не думаю, что живу. Нет, я не думаю, что живу большой, глубокой, цельной жизнью. Я, как и все, трус, бескрылый флегматик. Я создал и раскрасил себе свой мир и держу его в своей комнате: мужчины из картона, женщины из пакли, горы из дыма. Я разместил все это в порядке, и иногда, в солнечные дни, все это приобретает эффектный вид. И я остаюсь в своей комнате. И это — весь мой мир, вся моя жизнь, и каждый

день я возношу молитвы божкам дома моего и плюю на людей, проходящих по улице под моими окнами, не имеющих такого хорошенюкого искусственного мира, как мой.

Тут я — король в своем королевстве. Если бы вы видели, какие прекрасные позы я принимаю. То я — Зевс Громовержец и говорю своим марионеткам: «Помните, я ваш бог и властелин, я ваш творец и ваш разрушитель. Я могу переставить вас, могу разбить вас на куски. Тебя, куколка с рожками, я могу положить на дно ящика, и ты больше не будешь красоваться там наверху; а тебя, ненасытная балерина, из папье-маше, с вечной гримаской на разрисованном личике, я могу согнать с окна».

Иногда же я вхожу к себе с видом скучающего Фауста. Чтобы придать сцене таинственный вид, я закрываю окна и посыпаю все вещи серой пылью; затем мрачно усаживаюсь в кресло, кривлю рот, подымаю глаза к небу и горькими слезами плачу о тщетности познания и об обманах мира сего.

Но классик ли, романтик ли, я всегда остаюсь бедным ребенком, который играет в своей комнатке и говорит для собственного утешения: На дворе слишком холодно, и по улицам бегают страшные волки.

* * *

Я — как вы уже вероятно угадали — мозговик. Мозговики — любопытный народ; с ними стоит познакомиться. Я расскажу вам историю нашего праотца, такую смешную, что я никак не могу забыть ее.

Однажды один человек повязал сандалии, закутался в плащ и вышел из дому, направляясь на восток. Он хотел завоевать мир. Он был полон великих мыслей. Сердце его было больше, чем большой мир. И он думал: Я завоеую себе такое обширное царство, что гонцы с моими посланиями состарятся прежде, чем успеют дойти до края его. Я приобрету столько сокровищ, что настанет день, когда я смогу, если пожелаю, наполнить мир золотыми монетами. Я буду наслаждаться любовью ослепительно белых женщин на постелях цвета морской волны; высоко в горах огнем своего взгляда я уничтожу страшных врагов. Теперь я маленький бедный человек, и у

меня нет ничего, кроме покрывающего меня плаща, но мысли мои велики, и я хочу сделаться властелином всего, что существует, и господином всего, что живет.

Человек этот пришел в город и заявил, что хочет стать королем и повести людей на войну, чтобы создать себе великое государство; но все стали смеяться над ним. Тогда он решил покарать этот город, когда сделается могущественным, и пошел в другой город. Но и там с ним случилось то же самое. Так он обошел весь мир, и всюду над ним смеялись и подавали ему милостыню, принимая его за безумного нищего.

Наконец, однажды, он очутился перед своим домом. Ничто не изменилось; только сандалии его износились, плащ был во многих местах продыранен, и волосы странника поседели. Он вошел в дом и подумал: Никто не пожелал следовать за мной. У меня не хватило сил на то, чтобы собрать хотя бы небольшое войско. Я не приобрел ни одного сокровища. Очевидно, я никогда не буду властелином мира.

Он стал раздумывать о своей судьбе и в течение нескольких дней был очень грустен; но однажды утром — была весна, и на лугах уже стали пробиваться желтые цветы — он проснулся совсем веселым и сказал себе: Наконец-то я понял свою судьбу. Слеп я был, когда отправился завоевывать мир. То, что я считал миром, есть не настоящий, реальный, высший мир, а только кажущийся мир, мир чувств и обманов. Это мир мужиков и базарных торговцев. Настоящий мир открывается только в мыслях, во мне самом, и я могу, когда захочу, сделаться его господином, если только буду искать его в самом себе, в глубине своей души. — И лысый человек стал с зажженной лампой искать настоящий, глубокий, совершенный мир. Человек этот — помни это — был отцом всех поэтов, отцом всех метафизиков, всех мечтателей. Он основал династию тех, кто, не владея ни кусочком реального мира, создает себе ежедневно сотни маленьких миров из воздуха, из белил, из глины. Мы же с тобой, читатель, и все нам подобные — последние потомки этого человека, который не смог сделаться императором.

III.

ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК.

Некто рассказал мне: еще в начале вечера я истратил на кофе последние оставшиеся у меня пять сольдо, но слишком привычный напиток не дал мне вдохновения, которого я так искал, в котором я так нуждался. В те времена я почти всегда страдал от голода, я алкал хлеба и славы, и в целом мире не было у меня ни отца, ни брата. Редактор одного журнала — бледный и молчаливый редактор — принимал мои рассказы, когда у него не было ничего лучшего, и каждый раз давал мне ровно пятьдесят лир, каковы бы ни были достоинства и размеры того, что я ему приносил.

В тот январьский вечер воздух был наполнен ветром и колокольным звоном — нервным и ворчливым ветром и невероятно монотонным звоном. Я вошел в большое кафе, полное белого света и сонных лиц, и медленно опорожнил свою чашку, силясь пробудить в мозгу какой-нибудь забытый образ интересных приключений; я раздражал свое воображение в надежде, что оно создаст красивую историю, которая дала бы мне возможность прожить несколько дней. Мне необходимо было в тот же вечер написать рассказ, чтобы на следующее утро отнести его бледному редактору и получить у него аванс, а вместе с ним и возможность поесть досыта. Я болезненно прислушивался к течению своих мыслей, готовый наброситься на первую же идею, на первый образ, который можно было бы перенести на кипу уже перенумерованных белых листков, лежавших передо мною. Так в тщетном и горьком ожидании прошло четыре часа с четвертью. Душа моя была пуста; ум мой был ленив, мозг утомлен. Я отчаялся, положил на стол свои последние

монеты и вышел из кафе. Как только я очутился на улице, одна фраза внезапно овладела моими мыслями, — фраза, которую я слышал много раз, автора которой я не помнил. Фраза была следующая: «Если бы кто-нибудь, хотя бы самый обыкновенный человек, сумел рассказать свою жизнь, он написал бы один из самых интересных романов, какие когда-либо были написаны».

В продолжении пяти минут фраза эта заполняла мой ум, но я не в состоянии был вывести из нее никакого заключения. Но когда я уже почти дошел до своего дома, я вдруг остановился и сказал себе: «Почему мне не сделать этого? Почему не рассказать жизнь какого-нибудь человека, который мне попадется на пути? Я не совсем обыкновенный человек, и потом я столько раз описывал самого себя в своих рассказах; не знаю, что еще мог бы рассказать о себе. Нужно сейчас же найти какого-нибудь человека, незнакомого мне, обыкновенного человека, и заставить его рассказать мне, кто он и что делает. Сегодня мне определенно нужна человеческая жизнь. Я ни у кого бы не стал просить милостыню деньгами, но я буду просить и требовать силой милостыню биографией. Я не буду протягивать руку, но протяну ухо и историей чужой жизни продлю собственную». Этот проект был так прост и странен, что я решил сейчас же привести его в исполнение.

Я повернулся спиной к моему дому и направился к центру города, где я мог еще, несмотря на поздний час, встретить людей. Так я, новый и странный нищий, устремился на поиски жертвы, которую я хотел высосать до глубины ее души. Я шел быстро, пристально вглядываясь в лица прохожих, стараясь сделать хороший выбор того, кто должен был утолить мой голод. Как ночной вор, я насторожился на перекрестке и стал ждать, пока пройдет какой-нибудь человек, обыкновенный человек, у которого я мог бы вымолить признание.

Первого, кто прошел под фонарем — он был один и показался мне средних лет — я не остановил, потому что лицо его испещренное странными морщинами, слишком интересно, а я хотел произвести опыт в менее благоприятных условиях. Потом прошел юноша, завернутый

в плащ; но его развевающиеся волосы и глаза, возбужденные гашишем, удержали меня, так как я угадал в нем мечтателя, поэта, недостаточно обыкновенную, недостаточно заурядную душу.

Третий прохожий был старый, совершенно безбородый, и проходя он с видом сожаления напевал бравурную испанскую песенку, которая, несомненно, напоминала ему его жизнь, полную солнца и любви, жизнь вакхическую, южную. И этот не годился, и я не остановил его.

Я сам теперь не припомню с точностью своего бешенства в те минуты. Представьте себе этого странного грабителя, нищего, изголодавшегося и возбужденного, ожидающего на перекрестке неизвестного ему человека, желающего узнать жизнь, которой он не знает, сгорающего от нетерпения наброситься на неведомую ему добычу. И как бы в силу нелепой и злой судьбы, мимо него проходят не те люди, которых он ищет, а люди, носящие на лице печать своей исключительности и своей незаурядной жизни. Чего бы я ни отдал в те минуты, чтобы увидеть перед собой одного из тех бесчисленных филистеров, с красными и спокойными, как у поросят, лицами, которые меня столько раз забавляли и возбуждали во мне такое отвращение.

В те времена я был упрям и отважен и продолжал ждать под фонарем, который то погасал, то разгорался от дуновения ветра. В тот час улица была уже пустынна, а ветер разогнал полуночников. Только несколько торопящихся теней оживляли город. Одна из этих теней прошла, наконец, под фонарем, у которого я ждал, и я сразу увидел, что, наконец, нашел то, что мне нужно было. Это был человек не молодой, не старый, не слишком красивый, не безобразный, со спокойными глазами, хорошо завитыми усами, в приличном пальто.

Как только он на несколько шагов опередил меня, я догнал его и остановил. Человек испуганно отшатнулся и поднял руку, как бы для защиты, но я сейчас же успокоил его: «Не бойтесь ничего, синьор, — сказал я ему своим самым мелодичным голосом, — я не убийца, не вор и даже не нищий. Хотя, впрочем, я — нищий, но не из тех, что просят денег. Я попрошу у вас только одну

вещь, и то такую, которая вам ничего не стоит: расскажите мне свою жизнь».

Человек широко раскрыл глаза и снова отступил назад. Я понял, что он принял меня за сумасшедшего, и потому продолжал с величайшим спокойствием: «Я не то, за что вы меня принимаете, синьор, — я не безумный. И только нечто близкое к этому, я писатель. К завтрашнему дню я должен написать рассказ, который спасет меня от голода, и я хочу, чтобы вы рассказали мне, кто вы, какова была ваша жизнь до сих пор, чтобы я мог сделать вашу жизнь темой своего рассказа... Вы, ваша исповедь, ваша жизнь непременно нужны мне. Не отказывайте мне в этой милости, не откажите несчастному в этой помощи. Вы — то, что я искал, и из материала, который вы мне дадите, я напишу, наконец, свое великое произведение».

При этих словах человек, казалось, был тронут и стал смотреть на меня не с ужасом, а скорее с состраданием.

«Если действительно моя жизнь вам так нужна, — сказал он, — я охотно расскажу вам ее, тем более, что она чрезвычайно проста. Я родился тридцать пять лет тому назад от состоятельных, честных, здравомыслящих родителей... Отец мой был чиновник, мать моя имела небольшой капитал. Я был их единственным сыном и шести лет поступил в школу. В одиннадцать лет я окончил начальную школу, при чем занимался не слишком много и не слишком мало, и поступил в гимназию; в шестнадцать лет я поступил в лицей, в девятнадцать — в университет, в двадцать четыре года я получил диплом, не проявив ни блестящего ума, ни безнадежной тупости. Когда я окончил университет, отец устроил меня на службу в управление железных дорог и предоставил мне мою невесту. Служба моя отнимает у меня восемь часов в день и требует только немного терпения и памяти. Каждые шесть лет мое жалование автоматически увеличивается на двести лир. Я знаю, что в 64 года буду получать пенсию в 3 453 лиры и 62 центезима. Невеста была подходящая, и через год я женился на ней. Между нами никогда не было излишних сантиментальностей. Я навещал ее три раза в неделю и два раза в течение этого

года, в день ее именин и на Рождество, я принес ей по подарку и поцеловал ее по одному разу. Я имею от нее двух детей: девочку и мальчика. Мальчику десять лет, и он будет инженером; девочке — девять лет, и она будет учительницей. Живу я спокойно, без потрясений и без желаний. Каждое утро я встаю в восемь часов, а в девять вечера я иду в кафе, где говорю о дожде, о снеге, о войне и о министерстве с четырьмя коллегами по службе. А теперь, когда я исполнил вашу просьбу, позвольте мне уйти, так как я на десять минут опоздал домой»...

Рассказав все это с большим спокойствием, человек сделал движение, чтобы уйти. Оцепенев от ужаса, я молча смотрел на него. Эта однообразная, обыденная, регулярная, предусмотренная, размеренная, пустая жизнь внушила мне такую острую грусть, что я готов был разрыдаться и убежать. Я все же сдержался. «Вот, — сказал я себе, — знаменитый, нормальный, обыкновенный человек, во имя которого строгие врачи презирают и осуждают нас, как ненормальных дегенератов. Вот образцовый человек, человек-тип, истинный герой нашего времени, маленькое колесо большой машины, маленький камень большой мостовой, человек, который никогда не питается вредными мечтами и безумными фантазиями. Человек этот, которого я считал невозможным, несуществующим, выдуманным — здесь, передо мной, странный, ужасный, в бессознательности своего бесцветного счастья». Но человек не стал ждать конца моих размышлений и опять сделал движение, чтобы уйти. Еще объятый ужасом, но настойчиво, я пошел за ним и спросил его: «Неужели в вашей жизни нет ничего больше? Неужели с вами никогда ничего не случилось? Никто не замыслил убить вас? Ваша жена вам ни разу не изменила? Ваши начальники не преследовали вас?»

«Ничего подобного со мной не случилось, — ответил он вежливо, но сухо — решительно ничего из того, что вы говорите. Жизнь моя текла спокойно, ровно, регулярно, без шумных радостей, без больших горестей, без приключений».

«Ни одного приключения, синьор? — прервал его я, — неужели ни одного? Постарайтесь вспомнить, порой-

тес в своей памяти! Я не могу верить, что с вами ровно ничего не случилось, никогда, ни одного разу. Ваша жизнь была бы поистине слишком ужасна»...

«Уверяю вас, что у меня не было ни одного приключения, — ответил обыкновенный человек, с последним усилием вежливости, — по крайней мере, до сегодняшнего дня. Встреча с вами, синьор писатель, была моим первым приключением. Если вам непременно нужно — опишите его».

И не давая мне времени ответить, он удалился, слегка прикоснувшись к шляпе. Я еще несколько мгновений простоял неподвижно под ужасным впечатлением невероятного, потом вернулся домой, но не написал рассказа. История этой жизни долго еще волновала меня, и с той ночи я не в силах больше смеяться над обыкновенными людьми.

IV.

ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ БОЛЬНОГО ДЖЕНТЛЬМЕНА.

Никто не знал настоящего имени того, кого все звали Больным Джентльменом. После его внезапного исчезновения, осталось только воспоминание об его незабвенной улыбке и портрет Себастьяно Дель-Пиомбо, на котором он изображен закутанным в мягкую шубу, со свешивающейся, как у спящего, вялой рукой в перчатке. Те, кто очень любили его — а я был в числе этих немногих — помнят также его странную желтовато-прозрачную кожу, почти женскую легкость его шагов и постоянно блуждающий взгляд: он любил говорить, но никто не понимал его, а некоторые не хотели понимать его — так страшно было то, что он говорил.

Он был поистине «сеятель ужаса». Его присутствие придавало фантастический вид самым простым вещам; когда рука его дотрагивалась до какого-нибудь предмета, казалось, что этот предмет становится частью сказочного мира. В глазах его отражалось не то, что было вокруг него, а что-то далекое и неизвестное, невидимое никому из присутствующих. Никто никогда не спрашивал его ни об его недуге, ни о том, почему он не обращает на него внимания. Он всегда бродил, не останавливаясь ни днем, ни ночью. Никто не знал, где его дом; никто не слышал об его отце и братьях. Однажды он появился в городе и через несколько лет так же внезапно исчез.

Накануне того дня, в который он исчез, рано утром, когда небо только начало светлеть, он появился у меня в комнате и разбудил меня. Я почувствовал на лбу мягкое прикосновение его перчатки и увидел его перед

собой, завернутым в шубу, с легкой тенью вечной улыбки на губах и с еще более, чем обыкновенно, блуждающим взглядом. По его красным векам я понял, что он бодрствовал всю ночь; руки его дрожали, и все тело лихорадочно вздрагивало. Видно было, что он ждал наступления рассвета с тоской и тревогой.

«Что с вами? — спросил я его. — Ваш недуг дает себя чувствовать сильнее обыкновенного?»

«Мой недуг? — переспросил он, — какой недуг? Неужели вы, как и все, думаете, что я болен? Что существует мой недуг? На свете нет ничего моего. Понимаете? Ничего такого, что бы принадлежало мне. Зато я принадлежу кому-то».

Я привык к его странным речам и потому ничего не ответил ему. Но я продолжал смотреть на него, и взгляд мой, должно быть, был очень кроток; он снова приблизился к моей постели и дотронулся рукой в перчатке до моего лба.

«У вас нет никаких признаков лихорадки, — произнес он, — вы совершенно здоровы и спокойны. Кровь ваша спокойно течет в жилах. Поэтому вам можно сказать вещь, которая вас испугает; иначе говоря, я могу вам сказать, кто я. Слушайте меня, пожалуйста, внимательно, потому что вряд ли я смогу два раза повторить одно и то же; а я должен вам рассказать это».

С этими словами он бросился в фиолетовое кресло у моей постели, затем продолжал более громким голосом.

«Я — не реальный человек. Я не такой человек, как другие, не человек из плоти и крови, я не рожден женщиной. Мое рождение не похоже на рождение ваших братьев; никто не укачивал меня, не следил за тем, как я рос; я не знал ни мятежной юности, ни сладости кровных уз. Я — я говорю вам это, хотя и не знаю, поверите ли вы мне — я ничто иное, как образ, созданный во сне. Я трагическое воплощение одного из образов, созданных фантазией Шекспира: я сделан из того же, из чего сотканы ваши сны. Я существую потому, что кто-то видит меня во сне, что кто-то спит и во сне видит, что я живу, двигаюсь, действую и в настоящий момент говорю все это. С того момента, как этот

кто-то увидел меня во сне, я начал существовать; в тот момент, когда он проснется, мое бытие прекратится. Я — плод его воображения, его творчества, создание его ночных фантазий. Сон этого кого-то так продолжителен и глубок, что я сделался видимым и людям бодрствующим. Но мир бодрствования, мир реальной действительности не для меня. Я чувствую себя так не по себе в грубой обстановке вашего существования. Моя настоящая жизнь течет медленно в душе моего спящего творца...

«Не думайте, что я говорю загадками и намеками. То, что я говорю вам, правда, истинная, ужасная правда. Не расширяйте же так удивленно своих зрачков. Перестаньте глядеть на меня с выражением ужаса и сострадания.

«Но не то меня мучает, что я лицо, действующее во сне. Некоторые поэты утверждают, что жизнь человеческая есть только сон; а некоторые философы учат, что действительность есть ни что иное, как галлюцинация. Меня же преследует другая мысль: кто тот, кто видит меня во сне? Кто он, это неведомое мне создание, которому я принадлежу, чей усталый мозг дал мне жизнь, и кто проснувшись погасит мое существование, как ветер гасит огонь. Уж сколько дней я думаю об этом моем спящем властелине, о моем создателе, давшем мне мое эфемерное существование. Он, должно быть, велик и могуществен; для него наши годы — минуты, вся жизнь человека — несколько его часов, вся история человечества — одна его ночь. Сны его такие живые и сильные, что они отбрасывают отражения во внешний мир, и отражения эти кажутся реальными. Быть может, мир есть только вечно изменяющийся продукт перекрещивающихся снов созданий, подобных ему. Но я не стану делать обобщений. Предоставим метафизику быть неосторожным. Для меня достаточно ужасной уверенности в том, что я — плод воображения великого мечтателя.

«Кто же он? Вот давно волнующий меня вопрос. Вы прекрасно понимаете, как важно для меня знать это. Вся моя судьба зависит от того, каков будет ответ на этот вопрос. Действующие лица снов пользуются сравни-

тельно большой свободой, и жизнь моя не всегда определяется моим происхождением; она во многом зависит и от меня. Но для того, чтобы избрать стиль жизни, я должен был знать, кто тот, кто видит меня во сне. Первое время меня пугала мысль, что малейшая причина может разбудить его и, следовательно, уничтожить меня. Какой-нибудь крик, шум, дуновение ветра могут внезапно превратить меня в ничто. Жизнь мне нравилась тогда, и я мучительно старался угадать привычки и страсти моего неведомого обладателя, чтобы придать своей жизни формы, отвечающие его вкусу. Я дрожал при мысли о том, что могу совершить какой-нибудь поступок, который испугает и разбудит его. Одно время я представлял его себе чем-то вроде мистического евангелического божества и старался вести самую добродетельную жизнь в мире. Иногда же мне казалось, что он языческий герой; и тогда я надевал венок из широких виноградных листьев, пел вакхические гимны и плясал с холодными нимфами на лесных лужайках. Однажды, я даже подумал, что я сон какого-нибудь великого, вечного мудреца, живущего в высшем духовном мире — и я стал проводить долгие ночи над изучением бесчисленных звезд, измерений мира и состава органических веществ.

«Но, наконец, мне надоело служить зрелищем для этого неизвестного и неуловимого существа; я понял, что такая притворная жизнь не стоит всей этой лести, всего подличанья. Тогда я стал страстно желать того, что раньше так пугало меня — его пробуждения. Я старался наполнить свою жизнь такими ужасами, что он должен был бы в страхе проснуться и вскочить. Я все делал, чтобы добиться покоя небытия; все, чтобы прервать грустную комедию своей внешней жизни, чтобы уничтожить смешной призрак жизни, делающей меня подобным человеку.

«Никакое преступление не было мне чуждо; я не отступал ни пред какой гнусностью, ни пред каким ужасом. Я с утонченным зверством убивал невинных людей; я отравил воду целого города; поджег в одно и то же мгновение волосы целой толпы молодых женщин; своими зубами, которым желание самоуничтожения придавало силу, я разрывал детей, попадавших мне на пути. По

ночам я искал общества гигантских, черных, шипящих чудовищ, людям неведомых; я принимал участие в невероятных проделках гномов и кобольдов; я бросился с вершины высокой горы в голую, дикую долину, окруженную пещерами, полными белых костей; я научился от колдуний кричать, как кричат отчаявшиеся звери, и самые смелые люди вздрагивали при этих звуках. Но, очевидно, тот, кто меня видит во сне, не боится того, что заставляет дрожать вас, людей. Он или наслаждается при виде всех этих ужасов или же не замечает их и не боится. Так, до сих пор, мне не удалось разбудить его, и мне приходится продолжать влачить жалкое, рабское, нереальное существование.

«Кто ж освободит меня? Когда взойдет заря моего освобождения? Когда пробьет колокол, когда запоет пещух, когда раздастся голос, который разбудит его? Я так давно жду освобождения! Так нетерпеливо жду конца этого глупого сна, в котором я играю такую нелепую, однообразную роль...

«В настоящую минуту я делаю последнюю попытку. Я говорю своему властелину, что я — сон; пусть ему снится, что он видит сон. Ведь это бывает с людьми, неправда ли? И когда они замечают, что видят сон, то просыпаются ведь? Потому-то я и пришел к вам и рассказываю вам все это, что хочу, чтобы тот, кто меня создал, понял, что я не реальное существо, и прекратил мое призрачное существование. Как вы думаете, удастся мне это. Удастся ли мне разбудить своего невидимого господина, если я буду кричать, повторять это?»

Произнося эти слова, он извивался в кресле, то снимая, то надевая перчатку, и смотрел на меня все более блуждающим взором. Казалось, он ждет, что вот-вот произойдет что-нибудь страшное, необыкновенное. Лицо его было, как у умирающего. От времени до времени он пристально смотрел на свое тело, как бы ждал, что оно развалится, и нервно поглаживал лоб.

«Вы верите всему этому, — произнес он, — вы чувствуете, что я не лгу? Но почему я не могу исчезнуть, почему не могу покончить с собой? Неужели сон, в котором я принимаю участие, никогда не кончится? Не-

ужели это сон вечного мечтателя? Отгоните от меня эту ужасную мысль. Утешьте меня: подскажите мне какой-нибудь план, интригу, обман, который убьет меня. Я прошу вас об этом всей душой. Неужели вам не жаль этого усталого, соскучившегося призрака?»

И так как я продолжал молчать, он еще раз взглянул на меня и встал. Он показался мне гораздо выше, чем раньше, и я еще раз обратил внимание на его прозрачную кожу. Видно было, что он очень страдает. Тело его извивалось: он напоминал зверя, желающего вырваться из опутавшей его сети. Нежная рука в перчатке сжала мою — в последний раз. Пробормотав что-то тихим голосом, он вышел из комнаты. С этого момента он стал видим только для одного.

V.

ДЬЯВОЛ РАССКАЗАЛ МНЕ ...

I.

За всю мою жизнь мне пришлось говорить с дьяволом всего пять раз, но из всех ныне живущих я, несомненно, больше всех дружен с ним. Он обращается со мной (не скрою, что испытываю некоторую гордость, утверждая это) со снисходительной благосклонностью, иногда даже трогательной. Когда я в его обществе, я только и делаю, что слушаю его. Впрочем, нет: я слушаю его и смотрю на него. Дьявол — по крайней мере в том виде, в каком он всегда являлся мне, — фигура яркая, незаурядная. Он очень высок и чрезвычайно бледен; он еще очень молод, но той молодостью, которая много изжила и которая печальнее старости. Единственная особенность его бледного продолговатого лица, это — тонкие сжатые губы и еще морщина, единственная и очень глубокая, начинающаяся между бровей и идущая перпендикулярно к линии волос, почти теряясь в них. Я никогда не мог разобрать, какого цвета его глаза, так как никогда не мог выдержать его взгляда; я не знаю даже, какого цвета его волосы: большой шелковый берет, которого он никогда не снимает, совершенно покрывает их. Он всегда хорошо одет, всегда в черном, и руки его всегда безукоризненно затянуты в перчатки.

В наше время он редко решается спуститься на землю. Однажды, он признался мне с грустным видом: «Люди уж больше не интересуют меня. Их можно дешево купить, но и стоят они мало. В них нет ни мозга, ни души, ни дыхания. Я даже думаю, что кровь их недостаточно красна, чтобы ею можно было подписать договор».

Тем не менее, иногда, когда ему становится скучно в его густо населенной стране, он спускается к нам. Правда, никто этого не замечает, так как люди его больше не узнают и проходят мимо, считая его одним из своих, улыбаясь и снимая шляпу с таким уверенным видом, что становится страшно. Я же всегда чувствую его приближение и стараюсь насладиться его ценным общением. Беседа с дьяволом чрезвычайно полезна и приятна. Она открывает глаза на мир, особенно на наш внутренний мир, гораздо лучше, чем все большие и малые трактаты университетской библиотеки в Гейдельберге.

Я никогда не видел существа более снисходительного, чем дьявол. Он так хорошо изучил все человеческие слабости, злодейства и преступления, что ничто больше не удивляет и не возмущает его. Он спокоен и ясен, как древний философ, и кажется мне лучшим христианином, чем все христиане в мире. Он простил даже того, кто осудил его и прогнал от себя. Говоря об этом, он признает, что всемогущий был прав, когда низверг его с небес: царь не должен допускать, чтобы его окружали слишком непокорные и гордые существа. «Если бы я был на его месте — признался он мне однажды — я осудил бы непослушного на гораздо более ужасные муки. Я принудил бы его к бездействию, к неподвижности. Бог же был очень милостив ко мне и дал мне возможность посвятить себя призванию, к которому у меня были наклонности. Хотя теперь и это мне надоело, но у меня нет причин жаловаться. Я гораздо больше соскучился бы в небесном царстве».

К людям он относится с несколько ироническим добродушием, не лишенным, нужно сознаться, презрения, которое ему не всегда удается скрыть. По профессии он — мучитель людей. Но долгая привычка сделала его менее жестоким и менее страшным. Это уж больше не щетинистое чудовище средневековья с рогами и копытами, забавляющееся совращением девственниц в монастырях и старцев в пустынях. Он понял теперь, что соблазн совершенно не нужен. Люди сами грешат, естественно и добровольно, не нуждаясь в побуждении и напоминании. Он оставляет их в покое, а они бегут к нему, как вода с

гор. Он смотрит на них теперь не как на врагов, а как на верноподданных, беспрекословно платящих подати. Отсюда у него в последнее время появилась к нам, людям, жалость, не умаляющая презрения, но смягчающая и маскирующая его. В этом меня убедил наш последний разговор, во время которого он открыл мне нечто, не лишнее интереса для нас, людей, устремляющихся в высь и в даль.

II.

В последний раз я встретил его в окрестностях Флоренции, на одной из пустынных улиц, которые как бы высечены в камне серых стен, с нависшими над ними ветвями оливы. Он читал на ходу маленькую книжку в черном переплете и смеялся, как лишь он один умеет смеяться. Я подошел к нему. Едва увидав меня, он закрыл книгу, взял меня под руку и заговорил.

«Уж много веков я знаю эту книгу: это библия. От времени до времени, когда мне нужно привести себя в хорошее настроение, я перечитываю ее. Сейчас я читал ее по-английски и пришел к заключению, что английский язык удивительно подходит к ветхому завету, тогда как для нового я предпочитаю итальянский. Я сейчас перечитывал в тысячный раз первые главы бытия, и вы сами поймете почему. В них я играю немаловажную роль, а я иногда бываю не только горд, но и тщеславен. Мне приятно представлять себя змеем, обвивающим дерево, как на старинных гравюрах, с черной головой, протянутой к нежному, голому телу прелестной Евы. Но как жаль, что история соблазна так искажена историками, прислужниками бога. Если у меня будет время, я непременно издам когда-нибудь библию не только с исправлениями, но и с дополнениями. Должно быть благочестивым писателям противно было слишком часто упоминать мое имя, и они оставили в неизвестности некоторые из моих лучших похищений. Но вернемся к соблазну... Повторяю, друг мой, библейский рассказ бесстыдно искажен. Я никогда не говорил этого никому из людей, но мне

кажется, что вам можно рассказать то, до чего ни один человек сам не додумается. Итак, должен вам сказать, что я не был соблазнителем и лжецом в настоящем смысле слова. Когда я побудил Еву вкусить от запретного плода, я вовсе не желал, чтобы люди впали в немилость. Моим единственным желанием было отомстить Иегове, который, как мне тогда казалось, несправедливо обошелся со мной. Иначе говоря, я хотел создать ему соперников по могуществу и я не думал лгать, когда сказал Еве: «Вкусите от этих плодов, и вы будете подобны богу».

«Уверю вас, я тогда говорил истинную правду. Запретное древо было, действительно, древом знания, древом познания и не только добра и зла, как утверждает еврей, но и истины и лжи, видимого и невидимого, неба и земли, материи и духа. А вы ведь знаете, дорогой друг мой, что знание — сила, и что быть богом и значит именно быть мудрым и сильным. Я вовсе, как видите, не желал обмануть людей, когда указывал им способ сделаться подобными Иегове. В моих интересах было, чтобы это им удалось, потому что я надеялся на их помощь для завоевания небес.

«По вашим глазам я вижу, что вы хотели бы предложить мне вопрос, даже знаю, какой именно. Как же случилось, спросите вы, что Адам и Ева, хотя и вкусивши запретного плода, не сделались богами и даже были изгнаны своим богом из прекрасного сада?

«Я разъясню вам вкратце, если хотите, эту кажущуюся странность. Ева второпях не заметила, что плодов на дереве было много, и что они все разные, и не слыхала того, что я ей сказал, то-есть, что недостаточно вкусить от немногих плодов, но что нужно съесть все плоды с дерева и, таким образом, приобрести всю премудрость. Когда она съела один плод, у нее не хватило мужества сорвать и быстро съесть остальные. Так случилось, что Иегова успел заметить опасность и немедленно отвести ее вечным изгнанием. Если бы Адам и Ева съели все плоды чудесного дерева, великий старец не мог бы изгнать их из рая. Они были бы богами против бога, и ни один ангел, хотя и вооруженный огненным мечом, не мог бы обратить их в бегство. Бог смог наказать

их потому, что они не согрешили до конца. Первородный грех был наказан потому, что был недостаточен. Так всегда бывает на земле, и я не стану вам напоминать сказку об Александре и пирате, чтобы доказать, что преступление наказывается, когда оно мало, и превозносится и награждается, когда велико.

«Так, в тот далекий день, человек потерял прекрасный случай сделаться богом, а я потерял одну из возможностей вернуться на небо. Но я все же думаю, друг мой, и повторяю вам, хотя вы, люди, и не очень доверяете советам дьявола, что вы еще успеете доесть плоды с дерева и сделаться богами. Вы забыли дорогу к земному раю, но я знаю, что одно семя дерева знания вылетело из рая и уже окрепло. Нужно только найти его в ваших лесах, вырастить дерево, чтобы оно опять давало плоды, и тогда, верьте вашему старому другу, дьяволу, хотя завистливые рабы и выдают его за вашего врага, тогда вы сможете есть его плоды досыта, и мое обещание исполнится.

«Вы, может быть, попросите у меня указаний, признаков, по которым вы могли бы найти дерево и его плоды. Но я ничего не могу сказать вам. Веление свыше запрещает мне это. Вы сами должны искать дерево, вооружившись терпением и настойчивостью. И как только найдете его, известите меня, потому что тогда моя миссия будет закончена, и милосердный бог призовет меня к себе».

В этом месте голос дьявола прозвучал печально. Глубокая прямая морщина посреди лба показалась мне еще мрачнее. Несколько мгновений он стоял неподвижно, как бы охваченный какой-то мыслью, потом молча пошел вперед, глядя на звезды, мерцавшие на темном сумеречном небе.

VI.

ИСКУШЕННЫЙ ДЬЯВОЛ.

Сегодня ночью мне приснилось странное предприятие, сегодня днем я привел его в исполнение, сегодня вечером — я его рассказываю. Слушайте меня, все умники, верящие в реальность того, чего не бывает.

Мои друзья уже знают о моем близком знакомстве с дьяволом, и некоторым из них я уже передавал, что он мне рассказал однажды о трагикомедии искушения, представленной в земном раю вскоре после наименования растений и животных.

Я часто встречаю дьявола в своих снах и во время своих прогулок; сегодня ночью он опять приснился мне. Мне снился он и вместе с тем искушение, но не он — вдумайтесь-ка в это хорошенько — искушал меня, а я искушал его. Сон этот был таким неожиданным и странным, что я внезапно проснулся и во всю оставшуюся часть ночи не мог оторвать своей мысли от этой явившейся мне на один миг сцены, от этих, слышанных мною в течение всего нескольких мгновений слов.

Утром я убедился в том, что только одним путем могу освободиться от этого странного ночного видения — сделать его реальным на яву — и, не раздумывая больше, я пустился в путь.

В глубине улицы, на которой расположен мой дом, уже ждал меня дьявол. На один миг я подумал, что он знал о моем сне, и что он сам вызвал его, чтобы позавеселиться надо мною. Я хотел было уже вернуться назад, хотя и не без боязни, как вдруг я вспомнил, что за несколько дней до того мы условились встретиться в этом месте, чтобы вместе посетить старый кипарис, часто своей

черной, массивной тенью покровительствовавший нашим беседам.

Молча, даже не поздоровавшись, мы двинулись в путь. Мы были уже за городской чертой, но дьявол все молчал; как вдруг, мое ночное видение вновь явилось мне, еще живее и сильнее, чем ночью, и губы мои задвигались.

Но я не заговорил. Что сказать дьяволу? Как искушить его? Что я мог предложить ему? Как начать разговор в виду такого упрямого молчания?

Наконец, мы дошли до старого кипариса, качавшего верхушкой с видом нетерпения и упрека. Мы уселись спиной к его широкому крепкому стволу. Дьявол все молчал. Тогда я почувствовал, будто глубоко внутри меня открылся какой-то источник, и оттуда зажурчали, полились, вылились слова, которые я должен был произнести. И вот, что я сказал молчаливому дьяволу:

«Учитель и друг мой, вот для тебя пришел день искушения. Ты не способен более искушать людей; теперь нужно, чтобы люди искусили тебя. Тебе удалось это с Адамом, не удалось с Христом, но ты не человек и не бог, а я человек, который становится богом. Поэтому я обладаю правом и силой ввести тебя в искушение и отомстить за Адама и его сынов.

«Ты предложил первым людям божественность; Христу — царствие на земле; Фаусту — власть. Я же предлагаю тебе нечто лучшее; я не предлагаю тебе сделаться обезьянным подобием бога или обладать тем, что существует; я предлагаю тебе сделаться настоящим противником бога, истинным разрушителем того, что есть. О тебе говорят, что ты великий соперник всемогущего, великий отрицатель и разрушитель вещей. Но это неправда. Ты только подражал богу в его чудесах, ты творил и правил, как и он, ты подражал ему и следовал за ним, как послушная обезьяна подражает своему господину. Если бы ты, действительно, был антитезисом, противоядием бога, ты давно уже должен был бы делать противоположное тому, что делал он — ты перестал бы создавать одних антипап и антихристов: ты сделался-бы настоящим антибогом. В чем состояло великое деяние бога? — В сотворении мира! В чем должно состоять твое великое деяние?

— В разрушении мира! Ты должен — пойми это — не нарушать порядок в мире, не усложнять его, ты должен разрушить мир, уничтожить его, превратить его в ничто.

«Как же ты, трусливый хвостун, терпел до сих пор, чтобы мир продолжал существовать? Как ты, мировой революционер, не сумел устранить его?

«Когда же ты, наконец, сумеешь дать великий ответ на Fiat бога? После нескольких веков молчания, ответить на это еще более могучим Perea?

«До тех пор, пока ты будешь строить против бога мелкие козни или оспаривать у него жалкие душонки, наконец, возбуждать против него отдельные части земли и неба, ты будешь неверен своей миссии — быть противоречием богу. От имени некоторых людей, которым надоели эти не настоящие сражения, я требую, чтобы ты исполнил свою миссию и исчез.

«Если хочешь, я скажу тебе, как ты можешь повести мир к гибели. Ты окончательно должен изменить свой образ действий. До сих пор ты был беспокойным разрушителем, изменчивым, многообразным духом, иначе говоря, создателем движения и перемен. Все это в высшей степени глупо. Разве ты не знаешь, что движение есть перемена во времени? Перемена же создает различия, а что есть реальность, как не совокупность различных вещей? Реальность тем больше, чем многочисленнее различия. Увеличивать число различий, то-есть, двигать и изменять, значит увеличивать реальность; уменьшать же различия, то-есть, делать неподвижным и уравнивать, значит ослаблять реальность.

«Люди постарались убить реальность словами, которые служат для определения классов вещей, а не каждой вещи в отдельности, и, следовательно, принимают во внимание в некоторых группах вещей только общие черты. Некоторые же люди, которых толпа зовет философами, то-есть, влюбленными в знание, пошли еще дальше и старались свести весь мир, с его бесконечным разнообразием движений и форм, к одному слову. После чего они запели сами себе хвалебные гимны и решили, что написали в книге вселенной слово «конец». Но они не заметили, что это слово, именно потому, что оно

должно было обнять все, отрицало всякое различие, потеряло всякое реальное содержание. В мире идей единственное есть непостижимое — в мире вещей единственное есть несуществующее. Ты должен в реальности делать то, что философы делали только в мечтах; ты должен быть философом, оперирующим вещами, а не словами. Человек — философ хочет свести мир к одному слову и приходит к логическому ничто. Ты должен свести к одному мир, и тогда ты получишь истинное ничто, неподдельное ничто, окончательное, последнее ничто.

«Я указал тебе путь. От тебя, все еще могущественного, зависит, пойти ли по нему. Сливай, уравнивай, соединяй, нивелируй, уничтожай различия, сведи всех животных к одному, а это животное к растению, все растения к одному, а это растение преврати в минерал, и все минералы в этот один, все тела в одно тело, все материи в одну материю, все формы силы в одну форму, и эту единственную форму силы к единственному элементу материи — и ты увидишь, как мир мало-по-малу глоблеет, утонщится, улечит, и сам ты и сам бог будете одной вещью, и эта единственная вещь будет частью всего и исчезнет вместе с ним.

«Ненавидь различия, преследуй отличия, останавливай движения, препятствуй изменениям, и тогда ты будешь истинным врагом божьим, разрушающим его творения и отрицающим его. Пусть твоя деятельность будет направлена не к возбуждению, а к подавлению всякой деятельности. Поощряй праздность, пробуждай экстаз, помогай творцам общих идей. Мало-по-малу мир делается ленивым, как аскет, и бесцветным, как понятие.

«Таков будет твой ответ на Genesis, и если кто-нибудь смог бы описать его, он должен был бы сказать, что после конца не было ни неба, ни земли, ни даже хаоса. Бог увидит, как исчезнет его творение, которым он так гордился, а ты, старый и мятежный изгнанник, будешь отомщен. Никогда тебе еще не предлагали столь великого дела: никто не считал тебя способным на него. Хватит ли у тебя смелости и силы вогнать мир назад в то ничто, из которого он вышел, и бросить свое «Нет»

в ответ на тысячелетнее «Да» творца? Вот мой ответ на твоё искушение, дьявол. Ты предложил мне быть богом; я же предложил тебе быть выше бога, быть разрушителем самого лучшего его творения, первым и последним антибогом».

В этот момент слова перестали выходить у меня из горла, и внутренний источник закрылся. Я взглянул на своего спутника, слушавшего меня до сих пор молча и неподвижно, но с глубоким вниманием.

Я ждал его ответа, но он продолжал молчать и смотреть на солнце, медленно рассеивавшее туман внизу в долине. Перед нашими глазами, с высоты холма, на котором возвышался наш милый кипарис, мало-по-малу открывался мир.

Ветер уносил обрывки туч и тихо свистел. А дьявол смотрел и молчал. Наконец он встал, обернулся ко мне и произнес решительным голосом: «Пойдем. Я не могу больше оставаться».

Тогда я заметил, что дьявол тихо плачет, и в первый раз я увидел его глаза полные слез. То были ли слезы сожаления, гнева или радости? Я думал об этом весь день и не мог решить. И я жду ночи, чтобы спросить об этом дьявола во сне.

VII.

ТОТ, КТО НЕ УМЕЛ ЛЮБИТЬ.

С того времени, как Дон Жуан женился, его почти невозможно встретить вне дома, особенно по вечерам. Редкие седые волосы, слегка сгорбленные плечи и даже — почему не сказать этого? — упорный хронический катарр заставляют его держаться вдали от мира и его сует. И все же, в один мартовский вечер, я видел Дон Жуана разговаривающим в общественном месте с Джованни Буттадео, по прозванию Вечный Жид.

На фоне нелепой пышности большой пивной немецкого типа, при несдержанном свете круглой электрической люстры, эти два человека разговаривали, качая седыми головами, не обращая внимания на окружавшую их праздную толпу женщин с слишком красными губами и юношей с изнуренным, скучающим видом. Оба легендарных видения пили свое кофе, и по их виду никак нельзя было сказать, что существуют на свете кафедры фольклора и профессора сравнительной поэзии. Они жили и говорили, как вы и я, и когда я приблизился к их столу, слова их стали ясно и отчетливо доноситься до меня. Один стул за их столом оказался свободным, и я занял его. Старики не прервали разговора и только, едва взглянув на меня, слегка улыбнулись мне, как старому другу детства, с которым они незадолго до того расстались.

«Не легко это, нет, не легко, — энергично утверждал Дон Жуан, — дать объяснение моей истории, и, быть может, я умру прежде, чем откроется тайна моей жизни. Я несколько раз был в театре, где показывают мои похождения, и всегда больше всех смеялся над наивными пародиями, в которых я изображен сладострастным и

тщеславным развратником, которого гнев божий и месть Коммандора низвергают в ад.

«Как приятно не быть понятым этими королями подмостков. Даже Мольер, который все же был придворным комедиантом, не понимал меня. Никто не сумел узнать, что было под моим голубым панцырем, под шляпою с черным пером, никто не сумел увидеть этого. Обольщения, поцелуи, ночные бегства, потайные лестницы, предательские свидания, западни и похищения, маскарады и банкеты, белый памятник и последнее пиршество, все, что было чисто внешнего, условного, притворного — вот, что они видели, все эти авторы трагикомедий и поэм. Живописный соблазнитель, капризный рыцарь, неверный любовник; вот каков я для них и для их читателей. И ни один из этих великих знатоков человеческого сердца не открыл настоящей причины всех моих приключений; ни один не угадал, что развратником я был против своей воли, непостоянным — не по своему желанию.

«О, если бы я мог вернуть ночи моей юности, когда, прежде чем заснуть, я старался представить себе свою будущую жизнь! Не было ребенка чище меня, более кроткого, чем я. О любви я мечтал, как о святыне, а женщины были для меня как бы таинственной наградой, ожидавшей меня на пороге молодости. Так прошла молодость; наступила весна, звезды мерцали, деревья зеленели, а женщины оделись в прекрасные белые платья. Но любовь не приходила. Любовь осталась для меня пустым звуком. Ни разу не дрогнуло у меня сердце, ни разу не заставило оно меня побледнеть, как других, ни разу не бросало в жар при виде дорогого лица, при звуках дорогого голоса. Чувства мои проснулись, но сердце, спокойное, размеренное, как всегда, молчало. У меня была жажда любви, но не было способности любить. Я почувствовал, что смогу обладать женщинами, что смогу заставить их любить себя, но что, ни на один миг, я не смогу смутить свою душу, взволновать свое сердце. Первое время я не хотел верить в эту невозможность любви для меня и испробовал все пути для того, чтобы опровергнуть результат этих первых опытов. Потому что я верил в величие и красоту любви и не хотел, чтобы женщины

оставались для меня только игрушкой и забавой. Я старался всеми силами создать в себе страсть, на которую сам по себе не был способен; я все сделал, чтобы и меня, хоть один раз, охватило безумное пламя любви.

«Я думал, что достигну цели, если буду действовать так, как если бы уже был влюблен, в надежде, что, повторяя определенные слова и действия, я вызову в себе чувства, которые в других выражаются с помощью этих слов и действий. Поэтому я притворялся влюбленным и подражал движениям, улыбкам, взглядам, словам и выражениям влюбленных. Тысячи, десятки тысяч раз я повторял самые нежные слова, самые пылкие признания, самые страстные отрывки лирической поэзии; я ласкал, целовал, вздыхал, проводил долгие часы под окном; завернувшись в плащ, я простаивал целые ночи в ожидании условленного знака; я писал сумасшедшие письма; я делал над собой усилия, чтобы вызвать слезы умиления, и скомпрометировал себя в глазах всех, торжественно объявив себя обрученным с девушкой, которую моя любовная игра слишком смутила. Но все это было напрасно! Мое старательное подражание самым совершенным образцам, героям самых знаменитых книг, ни к чему не привело. Я был неспособен к настоящей любви; с каждым днем, с каждой минутой для меня становилась яснее моя полная неспособность любить.

«Тогда-то началась моя легендарная жизнь, сделавшая из меня тип неверного обольстителя. До этого времени я был чист телом и всей душой стремился к той могучей страсти, которая охватывает каждого человека хоть один раз в жизни. Но я не мог примириться со своим любовным бессилием. Я еще и еще раз хотел испытать судьбу. Я надеялся, что, быть может, любовь внезапно хлынет волнами в мое сердце, что от долгого ожидания она еще усилится. Я думал, что до этого момента она не просыпалась у меня потому, что я не встретил еще женщины, которая могла бы обнаружить внутренний источник моей страсти. И с отчаянием начал я искать эту женщину; я обошел все страны, все города мира, всю землю, соблазняя девушек, обольщая девиц, покоряя сердца вдов и чужих жен, вечно беспокойный, неутомимый, не-

довольный, неудовлетворенный, в поисках этой единственной женщины, неизвестной освободительницы, которая где-то должна была существовать, которую я должен был встретить, которая должна была познакомить меня с бессмертной любовью. И были женщины, любившие меня, женщины, бежавшие со мной, женщины, проливавшие слезы из-за меня, и женщины, умершие из-за меня, но ни разу мне не посчастливилось встретить ту, которая должна была смутить мой дух и заставить биться мое сердце. Я обладал телом многих женщин, я слышал биение сердца многочисленных любовниц, но ни разу, ни на один час душа моя не сливалась с душой той, которая любила меня. Сердце мое оставалось холодным, нечувствительным, и только формы тела этих женщин и изящные особенности их маленьких пылких душ слегка заинтересовывали меня. Я глядел им в глаза — черные, голубые, серые, страстные и тоскливые, и видел, как в них отражалось мое лицо, и видел, как они блеснули от радости, что я с ними; мои же глаза ни на миг не затуманивались и, овладев женщиной, я оставлял ее без сожаления.

«Тогда стали говорить, что я гнусный развратник, что я ищущий только телесных наслаждений и презираю любовь. Я же переходил от женщины к женщине, от приключения к приключению, в поисках единственной любви, и непостоянство мое покоилось на постоянстве, с каким я искал ее, а каприз порождался отчаянием неудачи. Все думали, что я наслаждался, в то время, как я тяжело страдал; говорили, что я жесток, между тем судьба была жестока со мной. Я искал любви тысячи женщин, потому что не умел полюбить ни одной из них, а люди воображали, что я играю всеми ими. Под внешним легкомыслием неверного любовника они не видели гневной грусти несчастного «любовника любви». Много женских сердец пострадало по моей вине, но ни одно из них не знало ужаса, отчаяния моей неудовлетворенной души. Под маской моей легенды скрывается горькая улыбка того, кто слишком был любим и не умел любить».

Тут старый соблазнитель смолк, а другой старик заговорил далеким голосом:

«То, что ты сказал, может быть, и правда, и, конечно, ужасно. Но ты разъяснил только внутренние причины, происхождение твоей легенды, и не дал никакого нового толкования, не указал никакого смысла ее. Я, который из века в век хожу по свету, и которого одиночество научило размышлять; я, который сделался подобным мученику Эдипу, трагическому философу, объяснявшему загадки, ясно вижу, чему учит твоя грустная история. То, что люди порицали и хотели уничтожить в тебе, есть любовь к разнообразию, любовь к перемене. Перед тобой, переходившим от женщины к женщине, перед непрерывной изменчивостью твоих вкусов и желаний они воздвигли белую суровую статую Коммандора, истинный символ, сказал бы логик, недвижимой концепции перед постоянно изменяющейся интуицией. И потому-то, Дон Жуан, ты брат мне. И меня люди ненавидят из страха перед переменной».

«Они осудили меня на вечное блуждание, воображив, что постоянно менять места, постоянно видеть перед собой новые вещи, не иметь от рождения до смерти гнезда, постоянного пристанища, — что все это самое большое несчастье для души человека. Я же создал из их приговора праздник; я создал себе прекрасную душу путешественника, исследователя, странника, блуждающего рыцаря, дилетанта, globe-trotter'a, и так в постоянных переменах и в вечном разнообразии, жизнь моя гораздо богаче, чем жизнь моих судей и палачей. Я и ты, Дон Жуан, мы — герои разнообразия и движения, и рабы единого дома и единственной женщины хотели вылить на нас свое презрение. Но мы идем вперед, о Дон Жуан, мы идем вперед гораздо быстрее их, а они быстро сходят под землю, чтобы там высидеть свое экономное счастье».

Но Дон Жуан не слушал сентенциозного путешественника и, как только тот смолк, он в свою очередь заговорил:

«Под маской моей легенды, быть может, скрывается улыбка, но в сердце моем одна только вечно обновляющаяся тоска моих разочарований. Я уже стар и никогда не узнаю, что такое любовь. Женщина, которую я искал,

не встретила мне ни на одном пути, и когда пришла старость, и я почувствовал необходимость в отдыхе и заботах, только одна старая служанка захотела принять мое имя. А ныне Дон Жуан живет среди воспоминаний и тщетных надежд, и у него одна только радость: согревать свой очаг каким-нибудь страстным, надушенным посланием».

Вечный Жид собирался сделать из слов Дон Жуана еще один философский вывод, но в эту минуту маленький человек, весь в черном и с пятнышком на левой щеке, заявил нам, что пивная закрывается. Дон Жуан вынул из кошелька большую золотую монету, но маленький человек посмотрел на нее и отверг ее. Это был испанский дублон 1662 года. Джованни Буттадео, более практичный, вытащил из кармана серебряную монету, бросил ее со звоном на стол, и громко и беспричинно смеясь, мы вышли, все трое, на пустынную площадь.

VIII.

СОВЕТЫ ГАМЛЕТА.

Однажды, беззвездным вечером, я гулял по берегу реки, думая об одном странном сне. Вдруг подле меня очутился принц Гамлет, с давних пор утомивший меня своей дружбой, и произнес: «Друг мой, ты совсем болен. Никто тебе этого не говорил еще до сих пор, но я должен это сделать. Не бледней так, не хватайся за лоб. Хотя я и провел лучшие годы своей жизни в скучном Виттенберге, но я не доктор. Зато я издали слышу запах той ужасной заразы, которой не знают лысые, длиннородные врачи. Ты болен духом, друг мой! И я некогда был болен, очень болен, и понадобились очень острая шпага и очень горькое питье, чтобы излечить меня. Уж много веков, как я совсем здоров. Потому-то, вероятно, я и забочусь о здоровье других. Сегодня вечером твоя очередь. Лечись: повторяю тебе, ты серьезно болен».

Сказав это, он смолк и молча продолжал идти рядом со мной. Я взглянул на него — как однако похудел принц Гамлет! — и спросил: «Не можешь ли ты, принц, сказать мне, какая у меня болезнь, чтобы я знал, как мне излечиться от нее?»

Гамлет улыбнулся и, дотронувшись до меня рукой — как худа и прозрачна была эта рука! — подвел меня к фонарю. Когда мы вошли в красноватый круг света, он встал против меня, посмотрел мне прямо в глаза и тихо произнес: «Тыходишь на меня».

С этого момента я никогда больше не видел дорогого лица принца Гамлета.

* * *

Я не видал тебя больше, добрый принц, но сколько раз в яркие красочные вечера, напоенные ароматом сена, я вспоминал твои слова. И я все думал о недуге, который делает меня похожим на тебя. Я, кажется, угадал его, этот страшный недуг, который ты даже не решился назвать. Не шпагой и не ядом, а этим недугом был ты убит, о загадочный принц, и этот же недуг сблизил нас в те одинокие вечера, когда ты навещаешь меня и когда своим глухим голосом рассказываешь такие прекрасные, странные вещи, каких не слыхали ни Горацій, ни Полоний.

И не есть ли этот недуг, этот ужасный недуг — самоанализ? И не ты ли меланхолический герой тех людей, которые больше думают о том, что они хотели бы и должны были бы сделать, чем делают? Разве ты не из тех утомленных, изнеженных призраков, которые предпочитают женственные речи мужественным поступкам?

И не в моей одной душе, о принц датский, разливает свой яд этот недуг. В наше время на земле не я один, а все, тебя окружающие, походят на тебя. Существует даже целое племя Гамлетов, и, хотя им не является еще никакой призрак, и у них нет неотомщенного отца, но и они, подобно тебе, носят в душе тонкий и ужасный недуг острого самоанализа и колеблющейся воли. Во мне и в них, как и в тебе, бледная тень мышления обесцвечивает богатую ткань жизни. Но тебя смерть излечила от болезни. Мы же, видишь ли, хотим жить. И жить ускоренным темпом. Не пройти жизнь, а пробежать, проплясать, пролететь.

Я больше не видал тебя, мой добрый принц, и все же мне кажется, что ты говоришь сегодня моими устами. Но я не поклянусь, что это так. Подобно тому, как ты вечно переходишь от тоски к иронии, так и я не могу сказать сейчас, моя ли душа говорит в твоей или твоя в моей. Но слова твои, несомненно, должны звучать так:

Вперед, друзья мои, вперед! Смелее! Достаточно ли остры ваши ланцеты, достаточно ли отточены ваши инструменты? Не пугайтесь вида крови, не бойтесь стонов

вашей души. Без страха, друзья, без слабости! Продолжайте работать, вскрывайте, ищите, глубже, еще глубже, до самого дна, до самой интимной, глубокой глубины. Ни один мускул не должен остаться неоголенным, ни один темный уголок скрытым. Хорошенько ищите внутри, выводите наружу каждую рану, каждый тонкий нерв, каждую твердую кость. И на костях не останавливайтесь: и внутри костей что-то живет, там течет кровь, там есть нервы и мозг. Не имейте жалости, друзья мои, никакой, никакой, никакой жалости. Обнажите всю свою душу и выставьте ее на солнце. Не беда, если она высохнет, если даже загорится. Нужно выставить себя всего и по частям перед людьми. Будьте же, друзья мои, хирургами, мясниками, палачами своей собственной души!

Подобно героям Теренция, пусть каждый неустанно пытал свою душу; подобно богу, принесшему себя в искупительную жертву, пусть каждый предложит себя другим в пищу. Пусть все в городах и селах, на родине и далеко за пределами ее, знают, что мы идем в церковь кокетничать с Христом или что мечтаем о круговых и воображаемых путешествиях. Пусть знает весь мир, что вчера мы гуляли в обществе Аполлона, а сегодня направляемся в Веймар, что мы старые и молодые, что недавно мы на пол-дороге покинули Ницше, а завтра, быть может, покинем вождя-поэта. Сделаемся, одним словом, глашатаями самих себя. Разве не в этом знак нашего превосходства, не в этом ореол нашего величия?

Итак, примем на себя эту тяжесть, будем без усталости сводить наши счета. Ежедневно будем класть на весы дух наш, ежечасно щупать наш пульс, каждые десять дней издавать бюллетени о нашем здоровье и наших недугах.

А главное, друзья, будем создавать проекты. Много великих, сложных проектов. Разве проекты не являются наркотом нашей жизни, как кофе, чай, опиум, гашиш? Разве они не замена, не суррогат, не залог реальности? О, сладчайший и милостивейший из богов, как я ласкал и любил тебя в тайниках души! Кто воспоет тебя, кто напишет в честь тебя апологию с предисловием, примечаниями и приложением? Кто будет любить тебя, как любил тебя я?

Два счастья, о божественный, дал ты людям. Первое — предлог для того, чтобы ничего не делать в ожидании выбора, второе — возможность наслаждаться в настоящем тем, что замышляется в будущем. Ты — двойной путь к отдохновению, двойная лестница, по которой мы поднимаемся к совершенной праздности.

Будем же, друзья мои, создавать проекты. Пусть вся наша жизнь состоит из планов и намерений. Пусть смерть застанет в нас одни обещания, а жизнь пусть будет для нас вечным ожиданием. Но что я говорю! Ведь я призываю вас к тому, что вы и без того делаете и постоянно делали. Ведь вы — признайтесь в этом — ничего другого и не делали в жизни. Разве не мы истребляем огромные запасы фантазии, не мы целомудренные женихи жизни и славы?

Вокруг нас жизнь ревет, как океан, и к нам доносится рев этот, вместе с песнями сирен и громом кровавых жертвоприношений. А мы все еще стоим на берегу, с ногами, увязшими в песке, далеко от морских волн. И не все мы на берегу. Многие из нас еще заперты в домах, у семейного очага, в мистической келье. Вот они, эти большие дети. Я вижу их. Перед ними большие карты, и они указывают пальцами дороги, глазами отмечают границы. А на каждой карте написано: «Мир».

Каждый вечер, когда звезды становятся задумчивее, когда люди после тяжких трудов возвращаются к себе и могут, наконец, подумать о том, что они сделали и сделали, когда носятся по дорогам тени тех, кто не имеет дара забвения, — мы кладем перед собой наши карты и — влажными глазами и дрожащими руками — отмечаем на них свои жизненные пути.

Как ужасны эти поиски! Как велик страх перед болотами и пропастями! Все отмечено на этих картах легкими, разноцветными знаками. Вот — Страна Нежности. Она вся голубая и розовая, с расчищенными рощами и серебряными ручьями, в которых плавают золотые рыбки. Но есть и Страна Ужасов, с мрачными лесами, лужами крови, крутыми горами, без рек и озер, сухая и безжалостная, как сердце того, кто умирает от гнева. А рядом, по странной случайности, находится Страна Грез; вся

закрытая бегущими облаками, оживленная легкими сернами, она полна фантазмагорий; здесь фея Моргана освежает своим дыханием пустыни, здесь чудесно вырастают под ногами у путника мосты через пропасти. А там дальше Страна Рынков, с ее плодородной землей и полными хлевами; Страна Бога, с кельями отшельников и гармонией базилик; Страна Слова, полная шума и зловонных испарений.

Все эти страны и еще много других мы видим на карте мира по вечерам, при уютном свете лампы. Тут мы видим дороги, которые ведут нас к сокровищам и радостям, приводят к колыбели ребенка, к безбрежному океану, к безумию и могуществу, к могиле и к трону. Все они перед нами, и мы медленно отмечаем их на карте лихорадочно дрожащими пальцами. А часы проходят, грустные и серьезные с громким криком проходят мужчины, со смехом мелькают мимо женщины, а мы все отмечаем извилины дорог, находим кратчайшие пути, измышляем тропинки и указываем их нашему телу, которое ждет полного уединения или завоевания всего мира. А время, жестоко и безмолвно, все идет вперед. Вот оно, как полчище босых демонов, шаркает, ногами у наших дверей. Каждый день — демон, каждый час — демон, каждая минута — демон, о друзья мои. Никто не замечает, никто этого не говорит вслух. Неужели мне придется напомнить вам, что каждый день, каждый час, каждая минута отнимают у нас часть молодости, силы, вечности? Заставить вас дрожать при мысли о том, что время умирает, что жизнь умирает, и умирает тою смертью, которая не знает воскресенья? Повторить вам с ужасом и грустью, что разворачиваемая нами нить коротка, дыхание неглубоко, что поделуи наши будут немногочисленны, а моменты творчества редки?

Неужели вы никогда не думаете обо всем этом? Не чувствуете, как быстро несется вперед ваша судьба, не знающая задержек в пути? И неужели негодование, презрение, отвращение к себе самому не охватывают вас, пока вы копаетесь в своей душе, вывешиваете на балконах свои тряпки, составляете свои маршруты? Неужели у вас никогда не бывает порыва бросить анатомический

зал и географическую карту? Дикого желанья скрыть свое внутреннее я и изорвать в куски свой раскрашенный глобус?

Сделайте это хоть раз, друзья мои! Скажите: разве мы здесь для того, чтобы на нас глазели? Кто тот божественный импрессарио, который пригласит нас на сцену? Или мы неряшливые ярмарочные жонглеры, извлекающие из рта золоченные безделушки? Неужели мы должны вкушать свою жизнь крошка за крошкой, капля по капле, рассуждая о том, что мы сделаем, вместо того, чтобы делать, рисуя кривую путешествий, которых никогда не предпримем, изображая на бумаге триумфы, которых мы не добьемся, и широкие пути, на которые мы никогда не вступим.

Сделаем маленькое усилие, друзья! Бросим все наши бумаги в то бушующее, пенистое море, которое так влечет нас к себе. Море — благоразумное божество и умеет хранить тайны: оно нас не выдаст. Оно не выбросит на берег трупы наших намерений. Прекратим красивые разговоры о том, что мы и чем хотим быть. Перестанем делать героические жесты и двинемся вперед. Пусть не будут больше слова наши пажами, за которыми не следует никакой король.

Повернемся к югу или к северу. Классики ли, романтики ли — не все ли равно. Во имя бога или сатаны: велика ли разница! Лирики или диалектики, герои слов или герои желаний, одним словом те, кем быть хотим, чем можем, чем желаем быть. Но, бога ради, будем что-нибудь делать, дадим себе самим, нашим друзьям, нашим врагам доказательство нашей творческой силы. Пусть каждый делает свою работу, большую или маленькую — все равно, пусть каждый собирает свою жатву, будь это скромный овес или золотистая пшеница.

Корабль стоит у берега, в порту, осмоленный, с натянутыми парусами, с развевающимися флагами. На носу капитан всматривается в горизонт; лоцман нагнулся над картой океана, изучая будущий рейс. Но корабль все еще в порту, якорь еще не снят, корабль не движется, не отчаливает.

У ворот города всадник сел на коня. Конь роскошно оседлан, в руках у всадника большой лук, у пояса темный меч. Но конь не движется, всадник не пускает стрел, меч не вынимается из ножен.

Ты, человек, стоишь на пороге жизни, твои холодные глаза зорко смотрят вдаль; слышно биение твоего сердца, равно полного желаний и ненависти; чувствуется тяжелое дыхание зверя, который ждет момента, чтобы прыгнуть на землю.

Но вот час ожидания сменяется часом нетерпения. Корабль вздрагивает и качается на водном зеркале, и стонут швартовы, прикрепляющие его к земле, лошадь бьет копытом, дрожит и протягивает морду вперед, к душистому лугу, к звенящему полю брани...

IX.

ПРОРОЧЕСТВО УЗНИКА.

Из мрачной темницы тела мы выходим на свет, о друг и брат мой. И едва освободившись, мы спешим создать себе новую темницу, еще более ужасную: темницу духа. Еще детьми, по мере роста, мы собственными нетерпеливыми руками возводим ее высокие стены; каждый день нагромождаем камни, каждая слеза служит нам цементом, каждое горе делает нас более одинокими, каждое открытие удаляет нас друг от друга. С сонными глазами мы замыкаемся в самих себе, как в верном прибежище.

И когда приходит юность, наша тюрьма, наша крепость уже готовы, и только мать или любовница изредка пытаются проникнуть в темницу нашего духа. И тогда наступает канун страстей наших. У души вырастают крылья, но пространство все суживается. Склонитесь над какой-нибудь из этих душ, и вы услышите, как тщетно и гневно она бьется под землей. Глаза уже созрели для света, а света нет. Голос ищет первых аккордов, но никто не слушает его, никто не понимает. Слезы текут, и никто не замечает их, гнев раздражается, и никто не пугается. Круг все суживается, закрываются бойницы, крепость проваливается внутрь, как бы превращаясь в пещеру. А мы оказываемся запертыми, заключенными в этой крепости, в этой тюрьме. Ни окон, ни двери, ни неба — разве в — сновиденьи. Ни света — разве, что от удара рукой по зрачкам. Ты замкнут, как монада, таинственен, как тюремная камера, нем, как старый отшельник, который не верит больше в человеческий ум. И во тьме, в

безмолвни чей-то голос твердит тебе: «Никто не скажет того, что ты хотел сказать. Никто не узнает того, что ты знал. Никто не будет напутствовать тебя при твоей смерти». И голос трусости толкнет тебя на новые унижения, ты затрепещешь среди своих стен, и захочешь сделать смелую вылазку и броситься в объятия врага. И тогда ты разукрасишься и разоденешься, в твоей руке, как пламенный факел, засверкает твой самый прекрасный стяг, на тебе будут самые яркие одежды, самые пышные перья, самые тонкие вышивки, самое отточенное оружие. И ты захочешь выйти на солнце, на землю, на свет, на свободу. Ты будешь охвачен огнем мессианства, и в груди у тебя забьется пророческий дух Иезекииля и Иоакима. И ты захочешь говорить с людьми, и будешь звать их в дом свой и, как падшую женщину, привлекать их тканями и улыбками. И охватит тебя большая неведомая любовь ко всем, безумное чувство материнской нежности, то терзанье, которое все будет расти, по мере твоих стараний утишить его. И тогда сама собой, как мягкий воск, твое лицо обольет христианская маска, которую не ты создал и не ты пожелал. Ты захочешь вскрыть всю правду, доброту, величие, богатство. Клубком слез подступят к твоему горлу слова, — и ринутся из гортани неустанными водами, и ты обретишь сладость, которая заставляет бледнеть, и слова проклятья, вызывающие дрожь. Твои руки возденутся горе, как ветви, лишенные листвы — но сулящие тень, твои волосы зашевеливаются, как охваченная волнением толпа, твое тело вытянется, словно бы оно хотело стать выше горы или быть распятым на кресте.

И вот тогда к твоему ночному изголовью приблизятся тени старых жрецов: ты увидишь Моисея, еще дрожащего перед неопалимой купиной, возвещающего страшные заповеди, ты увидишь Христа, плачущего слезами малодушия под усталыми масличными деревьями, Магомета, скачущего верхом по пустыне, с жестокими надеждами в сердце. И все они покажутся тебе братьями, и ты, подобно им, захочешь зажечь народ, опьянить мечтами расу, перевернуть весь мир.

И тогда твои ноги взалкают горных высот, твой голос станет искать толпы, и ты захочешь быть единым и творцом. Тебе покажется, что с тебя начинаются новые времена и новые законы, и ты с улыбкой будешь смотреть на старых богов, и будешь пытаться собственными руками разбить старые скрижали, хранимые в храмах.

Все это ты почувствуешь, когда душа твоя переполнится, когда пещера, в которой ты вырос, покажется тебе слишком тесной, когда ты подумаешь, что из мрака твоего одиночества должен родиться свет. И тогда ты почувствуешь себя подобным некоему богу и назовешь себя сыном бога, — хоть ты и не найдешь в себе силы убить его.

Так ты появишься в мире, гарцующий на коне, с богатым чепраком и украшениями, гордый, как король, щедрый, как куртизанка, и радостный, как придворный шут.

* * *

И больше всего, о друг, о брат мой, — как безумец. Прежде всего, как придворный шут. Твой выход будет твоим поражением. Ты дашь другим столько света, что сам будешь им ослеплен. И ты будешь одинок, еще более одинок, потому что узнаешь, что за стенами крепости нет никого, в то время как ты надеялся, ты жаждал толпы, о друг, о брат мой. И вот после того, как ты прогремишь всеми своими бубенчиками, скажешь все свои слова, покажешь при солнечном блеске все свои прекрасные одежды, потрясешь в воздухе всеми своими знаменами и протрубишь во все свои трубы, — придет день, когда ты останешься один, оставленный, жалкий, как уличный фокусник, внезапно покинутый толпой на площади. Придет день скорби, день великой, глубокой, молчаливой скорби, о друг мой и брат мой. День открытия пустыни.

И тогда ты снимешь с себя все одежды, и каждое слово покажется тебе пустым звуком, маленьким и смешным, старой скорлупой, грязной кожурой, бесполезной игрушкой. И знамена твои упадут в грязь, а трубы за-

молкнут, и только старые деревья, раскачиваемые ветром, будут качать верхушками, как бы сожалея тебя. Ты будешь гол, как нищий, бесприютен, как бродяга в степи, несчастен, как приговоренный к вечной жизни. Все будет раздарено и все потеряно. Солнце не будет больше согревать тебя, вода перестанет утолять твою жажду, воздух — проникать в твои легкие. И тогда ты вспомнишь трагическое исчезновение отцов: Моисея, который, говорят, призван богом и который исчез, и ни один человеческий глаз больше не увидел его, — а он в одиночестве плачет о тщете своих деяний; Христа, который в ту ужасную ночь плакал не о близком мученичестве, а о бесполезности своей миссии...

Узнаешь и ты, что хотел дать то, чего не имел: истину; что ты хотел дарить тем, у кого не было судов, чтобы собирать твои дары; что ты говорил так, что никто тебя не понимал; что ты сам не понимал того, что хотел сказать.

И настанет день последний. Душа твоя будет, как разграбленный город, как разрушенная башня. И ты будешь продолжать разрывать пепел, ища в сердце мира скрытый огонь. Но все будет погашено, все будет холодно, ни одна искра не сверкнет среди развалин, ни один костер, огонек очага не блеснет, вдали, маня к себе путника. Все будет мертво, потому что будешь мертв ты. И у тебя не хватит сил даже на то, чтобы вырыть себе красивую могилу.

* *

*

Тогда, друг и брат мой, тебе останется только одно: твоя старая пещера, твое таинственное гнездо, твоя запертая крепость, покинутая тобой в день твоей зрелости. Ты еще помнишь высокие, темные стены, подземные лабиринты, манящий сумрак. Вернись же, умиравший нищий, в свою детскую берлогу. Имей силу вновь замуровать в своем монастыре, замкнутом семью замками, запечатанном семью печатями. Будь своим узником и своим тюремщиком. Умей, как горные птицы, умереть одиноким среди скал.

И оставь за своей спиной, за дверью, таинственные призраки, которых ты называл ближними. Если ты захочешь быть собой, не называй их себе подобными. Чтобы быть подобным им, ты должен быть иным, ты должен перестать быть самим собой, должен облечься в странные одежды, покрыться грязным плащом. Подумай только — и это самое ужасное — быть может каждый делает то, что принужден делать ты, и каждый унижается — чтобы познать униженных, скрывается — чтобы найти скрывающихся, надевает маску — чтобы узнать замаскированных. Не смейся же более над своим безумием, не презирай своих слов, не проклиная того, что ты делал. Есть еще время, чтобы хорошо умереть. Ты вернешься нагим в свою крепость, но эта нагота будет во много раз дороже твоего прежнего богатства. То, что ты бросил, только обременяло тебя: внешность, мечты и надежды. У тебя нет больше того, что душило и пожирало тебя, ты оставил все это на сучьях изгородей, через которые ты перешагнул, в грязных волнах рек, тобою перейденных.

Раньше ты хотел говорить; теперь ты знаешь, что никто не может ничего сказать, но может только петь. Раньше ты хотел проникнуть в чужую душу; теперь ты знаешь, что каждая душа одинока, недоступна, непроницаема, как твоя собственная, друг и брат мой. И если ты хотел господствовать, то знай: ничто не может сделаться твоим, потому что все твое.

И с этой минуты пещера, в которую ты вернулся после шумного изгнания, не покажется тебе уже тесной и мрачной. С каждым днем она будет расширяться, увеличиваться, как если бы невидимый гигант в бешенстве хотел сокрушить ее стены. И библейское отличие света от мрака перестанет существовать для твоих глаз. Ты перестанешь понимать то, что еще в детстве объясняли тебе о дне и ночи, ты перешагнешь границы ученических прописей. И мало-по-малу твоя пещера растает, как облако тумана, исчезнет, как завеса волшебства, и новый, неведомый тебе мир, мир, которого ты не узнаешь, но в котором ты будешь жить, сделается твоим достоянием. И однажды, в этом мире безмолвной

жизни, большая, блестящая, извивающаяся змея откроет перед тобой пасть, чтобы показать тебе свое раздвоенное жало. Былая слабость, былая трусость будут побеждены. Ева умрет, не соблазняясь более коварными речами, не вкушая более яблока с древа познания скупого иудейского огородника.

И ты не сложишь никакого гимна в честь этой своей победы.

X.

ПРОСЬБА ВОДОЛАЗА.

В тот самый день, когда мне минуло восемнадцать лет, отец мой ласково призвал меня к себе и сказал с подобающей торжественностью: «Господь бог хочет, чтобы каждый человек на земле занимался каким-нибудь делом. Он не любит тех, кто, усевшись на краю поля, глядят на пахарей и сеятелей. Нужно поэтому, чтобы и ты избрал себе занятие, которое придало бы смысл и цель твоей жизни. Каков бы ни был твой выбор, обещаю тебе не противиться ему. Итак, решай и говори».

И так как я глубоко чтил господа бога и всегда слушался своего отца, то ответил: «Выбор мой уже сделан: я хочу быть водолазом».

Отец слегка побледнел, но сейчас же ответил: «Пусть исполнится твоя воля».

* * *

Так с того дня я стал водолазом. Долгие, долгие годы я жил один, в безмолвии, глубоко под водой. Я побывал во всех морях, я исследовал все океаны, я опускался на дно всех пучин. Я видел остовы галер, со старыми изломанными якорями, полные золотых монет, на которых вода раз'ела изображения; огромные, светящиеся чудовища, с большими, вялыми глазами, освещали меня своей фантастической белизной; длинные, зеленые существа, похожие на сирен, ласкали меня; я проникал в темные кратеры затонувших вулканов; я попираю ногами почву исчезнувших Атлантис; я наткнулся на

разбухшие трупы утопленников, я бился в щупальцах колоссальных спрутов; и я выносил на свет горы изумительных жемчужин, причудливых раковин, светящихся деревьев, кинжалы, брошенные в воду дрожащими убийцами, кольца дождей и золотую чашу короля из Фулы...

Пришел день, когда я изучил все морские глубины, долины всех океанов, все самые мрачные заливы и самые скрытые скровища. Пришел день, когда я пропитался запахом всех морей, узнал все ритмы волн и все симфонии бурь. И тогда я подумал, что господь бог уже удовлетворен, и решил вернуться в свой родной город к земным существам, покинутым много-много лет назад.

* *
*

Но как только я прибыл в город, где я родился и где хотел умереть, как почувствовал ужасное отвращение и мучительное изумление. Я не узнавал и не любил больше того, что окружало меня в детстве. Привыкнув к пустынным, подводным пространствам, освещенным чудесным отраженным светом и густыми лучами, исходящими со дна, я не мог жить в тесном, грязном улье, называемом городом. Небо казалось мне слишком близким и слишком бледным; город представлялся мне странной темницей, изборожденной узкими и грязными корридорами, где маленькие животные, покрытые шкурами других животных, бегали, бросая друг на друга жестокие или сладострастные взгляды. По этим корридорам катились шумные подвижные ящики, наполненные с'ежившимися зверьками; воздух был отравлен дымом и пылью и заражен зловонными дыханиями и удушливыми запахами. Люди напоминали мне приговоренных к смерти, обезумевших в напрасном ожидании помилования. Лица их мне были противны и напоминали головки беловатых пресмыкающихся, которые кладут яйца на могилах; их глаза казались пустыми, как если бы за ними не было души; слова их звучали у меня в ушах то как монотонный напев вечно голодных нищих, то как дикие крики орла, которому отрезают крылья.

В их мрачных, тесных домах я видел ложе, на которое они, как умирающие, бросались по ночам, и столы, установленные ключьями трупов и листьями, грубо оторванными от свежести земли. Были у них еще большие комнаты, в которых некоторые из них, при искусственном свете ламп, делали вид, что любят или умирают, одеваясь при этом в разноцветные одежды; залы, в которых люди в черном делали вид, что спасали отечество и мир своими криками, и еще залы, в которых были прибиты к стенам куски полотна, покрытые красками и разными знаками, будто бы изображавшими иной мир, лучший, чем тот, в котором они живут.

Но я, привыкший к ослепительному безмолвию водных глубин, не мог понимать многих из их жестов и слов. Хотя я и родился, и рос в их же среде, вся жизнь их казалась мне бессмысленной, пустой, позорной и грязной, как подземная берлога слепых, слабых и нечистых зверей. Мне казалось, что я упал в колодезь, населенный ходячими разлагающимися трупами, а по ночам у меня не хватало духу поднять глаза вверх, так как я боялся, что даже звезды бежали с их неба.

И я думал про себя: кто довел меня до такого состояния? Кто так ужасно изменил мне душу, что она во всем видит одно лишь смешное, темное, безобразное? Город таков, каким я оставил его в юности. Говорят даже, что он во многом изменился к лучшему. Почему же мне, вернувшемуся с моря, он кажется таким странным и противным? Ведь любил же я его в детстве всей душой и считал же его самым красивым, самым величественным, самым гостеприимным из городов.

Но на эти вопросы я не нашел ответа. Человек, поддерживавший меня в то ужасное время, посоветовал мне читать книги духовных и телесных целителей, чтобы найти лекарство против того, что он с искренним огорчением называл моим помешательством.

В тревоге и жадном стремлении к выздоровлению, я прочел сотни и тысячи книг, читая днем и ночью. Но ни в одной книге я не нашел того, что искал.

Теперь я обращаюсь к тебе, человек, стоящий передо мной со злой улыбкой праздного палача и глазами,

никогда не выдавшими неба; я обращаюсь к тебе, преждевременно развращенный человек, так хорошо умеющий хранить свои тайны, и прошу тебя, во имя земли, давшей тебе жизнь, во имя земли, питающей тебя, во имя земли, по которой ты волочишься, прошу тебя сказать мне, почему я не понимаю и не люблю жизни людей.

Если ты ответишь мне, я подарю тебе жемчужину, которую я добыл на дне самой сказочной морской долины, и которой не коснулся ни один глаз человеческий, кроме моего.

XI.

УБЕГАЮЩЕЕ ЗЕРКАЛО.

В одно невозможное зимнее утро, на перроне большой известной станции, неизвестный мне человек — в пальто с двумя фиалками в петлице, хотел доказать мне, что люди счастливы, что мир велик и жизнь прекрасна. Я слушал его с интересом, поминутно обрасывая пепел с папиросы, горевшей на ветру, хотя я и не подносил ее к губам. Я слушал и улыбался, а Человек все больше воодушевлялся и от юмора постепенно переходил к чувствительности, к восторгу, к энтузиазму. Его быстрые, текучие и горячие, словно только-что отчеканенные речи, опьяняли меня, как шампанское. Было в них что-то острое и шипучее, и являлось желание обниматься и плакать, плясать и смеяться маленькими смешками.

Он говорил: «Подумайте, синьор, подумайте только о величии прогресса, совершающегося на наших глазах; прогресса, ведущего людей от прошлого к будущему, от того, что более не существует, к тому, что еще не существует, от того, что перешло уже в область воспоминаний, к тому, что составляет предмет надежд. Дикари не предвидят будущего, не думают о нем. Мы же, цивилизованные люди, новые люди, живем будущим и для будущего. Вся наша жизнь обращена на то, что должно наступить, строится на том, что впереди. Мы живем сегодняшним днем для завтрашнего, и каждое проходящее сегодня мы почтительно и смело подносим в дар тому завтра, которое в свою очередь пройдет.

«Великий прогресс пророческого духа заставляет нас избегать опасностей, овладевать стихиями, открывать новые возможности; он делает нас господами земли, моря и неба и еще одной, самой ценной вещи, нас самих».

В эту минут к перрону подошел курьерский поезд. Грохот колес на перекрестках рельс, короткий, решительный свист локомотива прервали речь Неизвестного Человека. Наконец, поезд успокоился, пассажиры разбежались, и слышно было лишь глухое пыхтенье паровоза. Человек собрался продолжать говорить, но я предупредил его:

«Господин Человек, сказал я ему, не кажется ли вам, что подошедший поезд ответил вам вместо меня? Если хотите, я переведу вам его ответ. Я понимаю язык поездов и многих других предметов. Еще несколько минут тому назад поезд этот шел со скоростью восьмидесяти километров в час; маленький, густо населенный и освещенный мирок пересекал пустынные и туманные поля. Но вот он внезапно остановился, и обитатели этого маленького убегающего городка исчезли, а машинист с недовольным видом вытирает лоб. Колеса лениво покоятся на рельсах, и темные, пустые вагоны с грустью вспоминают болтовню пассажиров и разноцветные чемоданы. Так кончается всякий бег, когда путешествуешь по рельсам. Но оставим поезд и пойдем за людьми. Мне пришла в голову нелепая мысль, и я поделюсь ею с вами. Я не повторил бы этого перед толпой, но если бы здесь были все те, кого мне хотелось бы тут видеть, я сказал бы:

«Представьте себе, люди, невозможную, нелепую, невероятную вещь. Представьте себе, что все движение в мире внезапно остановилось, что все осталось в том виде, в каком было в известный данный момент, и что люди сделались неподвижными, как статуи, в той позе, в какой застал их этот момент... Если бы это случилось, а мысль человеческая, несмотря на все, не остановилась бы, и люди могли бы вспоминать все то, что они сделали со дня рождения, и что они хотели бы совершить, прежде чем умереть, представьте, сколько отчаяния горело бы под трагическим безмолвием этого внезапно остановившегося мира.

«Не знаю, чувствуете ли вы, как это было бы ужасно. Постарайтесь на минуту представить себе этих людей, сделавшихся неподвижными в то время, как они зани-

мались своим делом, задыхаясь в погоне за своей мечтой, разжигаемые своими грязными страстями, грубо подталкиваемые своими желаниями. Вообразите их, рассеянных по миру, как бы не добытых катастрофой, превратившей их в кукол, в статуи отчаяния. Вообразите их в самых отвратительных, самых смешных, самых глупых положениях. Вот человек застигнутый в тягелом сне — с полуоткрытым, как у пьяного трупа, ртом; вот человек в любовном жару — он всей своей тяжестью, как зверь, навалился на женщину с закрытыми глазами; вот вор с мутными глазами, который крался во тьме с потайным фонарем — и лампа его уже никогда не погаснет; судья в черной мантии с высоты своего судейского кресла распределяющий порции ада и крови; там нищий ползает в грязи, ища кость и медную монету; сладострастно улыбающаяся женщина с напудренным, склоненным на бок лицом; торговец жестикулирующий костлявой рукой, в жадном стремлении получить еще несколько грошей; запыхавшийся крестьянин с бичем, поднятым над волами; элегантный оратор, у которого застыла на лице неоконченная улыбка, а на губах недоговоренная любезность; солдат со штыком, поднятым перед закрытой дверью; убийца, готовивший на чердаке свой яд; сонный рабочий, согнувшийся над своими огромными, мрачными, неподвижными машинами, и ученый, не могущий оторвать утомленного глаза от микроскопа, в котором прекратилась пляска невидимых чудовищ...

«Вообразите теперь, если вам не страшно, каковы должны быть мысли всех этих людей, приговоренных в один и тот же миг к сознанию своей смерти. Неужели вы думаете, что найдется хоть один человек, довольный, удовлетворенный тем моментом, в который судьба сделала его неподвижным? Хотя бы один человек, для которого этот момент был бы мгновением Фауста, прекрасным мигом, который хотелось бы остановить, сохранить навеки? Вы, наверное, не думаете этого, вы не можете думать этого.

«Человек, в вашем лице, синьор, сказал великую истину. Люди думают о будущем, живут для будущего, свое

сегодня вечно приносят в жертву тому завтра, которое должно наступить. Человек живет только для того, что ждет, на что надеется. Каждый миг его жизни ценен потому, что готовит наступление следующего момента, каждый час — наступление следующего часа, каждый день — наступление будущего дня. Жизнь человека вся в мечтах и идеалах, в проектах и ожидании, все настоящее в мыслях о будущем. Все, что мы имеем в настоящем, кажется нам жалким, недостаточным, и мы утешаем себя только мыслью о том, что все это — длинное и скучное предисловие к прекрасному будущему. Все люди, сознательно или бессознательно, живут с этой верой. Если вдруг сказать людям, что через час все они должны умереть, то все, что они делали и делают, потеряет для них всякий смысл, всякую цену. Отнимите у существующей действительности зеркало будущего, и она покажется незначущей, позорной, гнусной. Люди не могли бы жить без завтрашнего дня, без того завтра, которое должно принести победу и славу, завоевания и забвение. Без далекого аромата завтрашнего дня люди не захотели бы есть черный хлеб сегодняшнего.

«Подумайте об этих внезапно окаменевших людях, которые не могут больше действовать, не могут думать. Подумайте о них, заключенных в вечном сегодня и не освобожденных в то же время от сознания этого. Что должны они испытывать? Как мучительно должны гореть их внутренности, разрываться натянутые нервы? Недвижные в своих позорных и глупых позах, лишённые надежды, просвета, сладости мечтания, с обрезанными крыльями, со связанными ногами, со скованными руками, как большая толпа микель-анджеловских рабов, прикованных к своей печальной, жалкой жизни, той жизни, которую они переносили только в надежде на лучшее будущее, эти приговоренные к вечному бездействию с бесконечным бешенством почувствуют всю нелепость своей предыдущей жизни. Они будут думать, что все свое настоящее принесли в жертву будущему, которое в свою очередь сделалось бы настоящим и было бы принесено в жертву другому будущему, и так вплоть

до последнего настоящего, до смерти. Вся ценность сегодняшнего дня заключалась в завтрашнем, а завтрашнего в следующем, — а там наступало последнее сегодня, и вся жизнь была истрачена изо дня в день, из часа в час, из минуты в минуту на ожидание того, что никогда не наступит. И тогда они откроют ужасную истину: что будущее, как таковое, не существует, что будущее — только часть настоящего, что из всех нелепостей этой нелепой жизни самая мучительная, самая печальная — жизнь ради того будущего, которое с каждым днем все отдаляется от нас.

«Люди, мы теряем жизнь ради смерти, уничтожаем существующее для воображаемого, мы ценим дни наши только потому, что ждем, что они принесут нам другие дни, которые опять-таки будут ценны только потому, что принесут нам подобные же дни... Люди, вся ваша жизнь — жестокий обман; вы сами себя обкрадываете, и одни лишь бесы способны холодно смеяться над вашей скачкой за убегающим зеркалом».

Еще один экспресс со стоном и грохотом вошел на перрон, и опять разбежались пассажиры, и опять с недовольным видом вытирал пот машинист. Неизвестный Человек в пальто с двумя фиалками в петлице продолжал стоять передо мной, но я совсем забыл о нем.

«Вот, — сказал я ему, — мои мысли о прогрессе, о жизни, о будущем. Вы, конечно, не согласны со мной. Но зато, кое-кто со мной за одно: так, например, туман, часто старающийся закрыть мир и скрыть человека от человека, бедность от презрения, безобразие от грусти. И я очень люблю, синьор, поезда, останавливающиеся после бесполезного бегства, и туман, скрывающий то, чего нельзя уничтожить».

Неизвестный Человек заволновался, и весь его энтузиазм исчез, как дым. Вместо ответа он вынул из петлицы одну из своих фиалок и протянул ее мне. Я взял ее с поклоном, поднес к ноздрям, и ее тонкий запах понравился мне.

ХІІ.

Я НЕ ХОЧУ БОЛЬШЕ БЫТЬ САМИМ СОБОЙ.

Всего десять часов прошло с тех пор, как я понял свое ужасное положение. Еще десять часов тому назад я не знал самого ужасного. Я считал, что давно уже прошел «курс ужасов». Я испытал, продумал, представил себе все, что есть, было, будет и могло бы быть самого страшного, самого мучительного, самого чудовищно-безумно тяжелого. Я знал, что такое тоска ночных ожиданий, отчаяние последних поцелуев, дрожание безмолвных видений, кошмарный бред, содрогание невидимых часов, отбивающих в ночной тьме бесконечное число ударов; судороги невыразимых мук, отчаянные стоны бесприютной души, блуждающая лихорадка демонических бесед. Я не знал только самого ужасного, мне не ведомы были последние, высшие муки. Всего десять часов прошло, а мне кажется, что много династий прошло уж с тех пор на земле, что много солнц покинуло уже с тех пор небо.

Но постараюсь быть спокойным. Постараюсь выразиться ясно и выберу для этого самую простую, самую естественную форму: я понял, что не могу быть самим собой. Я понял, что никогда, понимаете ли, никогда, не смогу перестать быть самим собой.

Быть может, я не совсем ясно выразился. Вот что: я хотел бы измениться, но серьезно измениться, совершенно, радикально. Одним словом сделаться другим, не имеющим со мной ничего общего, ни малейших точек соприкосновения, даже незнающим и никогда не знавшим меня.

Изменения и обновления в шутку мне давно известны. Это все равно, что стереть с себя пыль, что почиститься,

покрыть себя новым лаком. Меняется карта Франции, но моя комната остается все та же, меняется цвет платья, но тело под ним все то же. Переставляется мебель, маленькими гвоздиками прибавляется к стене новая картина, прибавляется еще один книжный шкаф, кресло поудобнее, стол побольше, но комната все та же, всегда, неумолимо, непреклонно та же. У нее все тот же вид, та же физиономия, тот же духовный облик. Меняется фасад, но внутри дом все тот же; те же в нем лестницы, те же комнаты. Меняется обложка, меняется заглавие, виньетка заглавного листа, буквы текста, начальные буквы глав, книга рассказывает всю ту же историю, всегда, неустанно — ту же старую, надоевшую, скучную историю.

Но такого рода изменения и обновления уже надоели мне. Сколько раз я чистенько выметал свою бедную душу, сколько раз я перекрашивал в новый цвет свой ум. Сколько раз я приводил в порядок свое сердце. Я шил себе новое платье, обезджал новые страны, поселялся в новых городах, но в глубине меня всегда оставалось что-то мое, что-то от меня, что хотя и изменяло внешность, голос, походку, но что, как неумолимый, непреклонный страж, не трогалось с места. Старое исчезает вокруг него, но он его не забывает; новое появляется, но он им не заслоняется.

Мне надолело жить всегда с самим собой. Уже двадцать четыре года, как я живу в обществе самого себя. Теперь довольно. Это мне окончательно надоело. Только лишь надоело? Конечно, нет! Скажите лучше, что это мое я, с которым я живу уже двадцать четыре года, внушает мне отвращение, тошноту, что оно стало мне противно.

И, наконец, я считаю, что имею право расстаться с собой. Когда квартира перестанет нам нравиться, мы можем же переменить ее; когда инструмент перестает нам служить, мы выбрасываем его. А разве мое тело не дом, будь это храм или хижина? Разве моя душа не инструмент, будь это серп или лира?

И все же я не могу покинуть свое тело, как не могу выбросить в какое-нибудь море свою душу. Всякий раз,

как я подхожу к зеркалу, я вижу в нем свое бледное, худое лицо, свой полуткрытый, как бы жаждущий добычи рот, свои растрепанные и волнистые, как у дикаря, волосы, свои глаза цвета сумеречного пруда, с большим черным зрачком, напоминающим змеиную логовище.

А когда я делаю смотр своей душе, я всегда встречаю все тех же дорогих мне, но старых знакомых: лица насмешливо, но с отчаянной нежностью улыбающиеся, лица стыдливо плачущие, лица таинственные, скрытые прядями слишком черных волос, а вдали отзвуки кабалет Россини и острот Дидеро, бетховенских симфоний и стихов Лапо Джани, песенок Скарлатти и апофегм Джорджа Берклея; звуки флейты, под которые танцуют маленькие, белые женщины, гудение органа под сводами лилово-золотой мозаики и процессии патрициев в фиолетовых одеждах по большим пустым полутемным залам.

И много, много разных вещей я каждый раз нахожу в душе, которая когда-то была мне так дорога, которую я так обильно питал и так пышно украшал. Но это все та же моя душа. Кое-что из того, что было, еще и теперь в ней есть, и никто не может сделать, чтобы никогда не было того, что раз было.

Кто же среди этих людей, любителей домашнего очага и засушенных цветов, научит меня, как мне освободиться от моего тела и души? Кто сможет сделать так, чтобы я не был больше я и превратился в другого, но так, чтобы даже не помнить того, кто я сейчас. Кто, дьявол или человек, даст мне то, чего я прошу со всем отчаянием моей души, ненавидящей себя.

Как-то недавно один старый хромоу черт напомнил мне старый способ: убить себя. Но я совершенно не доверяю этому черту. Я недавно знаю его, и у меня есть причины полагать, что он в заговоре с могильщиком: он все бродит вокруг кладбища. А затем к чему это привело бы? Я совсем не хочу уничтожить себя, не жить. Я хочу быть, но быть кем-нибудь другим; я хочу жить, но жить иной жизнью. Мне совсем не нравится самоубийство. Я никогда не питал симпатии к бедному Вертеру, который убил себя потому, что не нашел второй белокурой куклы,

и совсем не люблю его подражателей; они обыкновенно еще скучнее, чем этот несчастный, сентиментальный, немецкий провинциал. Блестящие дула пистолетов кажутся мне ненужными, как лабораторные инструменты; яд мне надоел даже в английских романах об Италии, а повеситься я считаю едва достойным даже самого жалкого и нищего из моих врагов.

Итак, у меня нет никакого желания не быть, но у меня есть отчаянное, ужасное желание быть иным, быть другим. И еще у меня отчаянное желание не быть тем, кто я теперь, потому что я таков, что мне хочется того, чего я никогда не смогу иметь. Я хочу не быть собой, потому что знаю, что никогда не смогу не быть собой.

Так я пришел к абсурду. Никто не понимает того, что я говорю и чего хочу. Никто никогда не узнает, что во мне происходит в эти страшные минуты. Никто никогда, даже самый тонкий психолог из моих знакомых дьяволов.

А он и сейчас со мной. Его лицо еще краснее, еще более вздуто, чем обыкновенно, глаза его, полузакрытые и лукавые, со смущающим спокойствием глядят на меня из-под шапки из волчьего меха. Он прочел то, что я пишу, и несколько раз улыбнулся с неопишмым удовольствием. И в эту минуту он говорит мне саркастически ласковым голосом: «Вспомните, друг мой, о том враче, который искал кобылу в то время, как сам сидел на ней. Сегодня вечером вы напоминаете его. Вы хотите быть другим. Но тот, кто имеет желание, которого никогда ни у кого не было, уже впереди всех других людей и на лучшем пути к тому, чтобы не быть тем, что он есть. А вы, мой прекрасный и торпливый друг, именно в этом положении.

«Вы стоите на пороге своей души и, может быть, — кто знает? — может быть вы выйдете из нее, если не испугаетесь тьмы, которая вне ее».

Сказав это, он удалился быстрыми шагами, оставив в моей комнате легкий запах ладана.

ХІІІ.

ЭЛЕГИЯ О ТОМ, ЧЕГО НЕ БЫЛО.

Когда еще не затихшей ночью, в тени мрачных дворцов, напоминающих тюрьмы, я возвращаюсь в башню, где провожу жизнь в созерцании трех других башен, и медленно иду, останавливаясь каждый раз, когда белая полоса света напоминает мне мир, который некогда был моим, — я думаю о всех тех бесчисленных дверях, в которые я не вошел, о всех тех бесчисленных руках, которых я не ласкал, о всех тех волосах, которых я не распускал, обо всем, чего я не видел, и о том, о чем я не грезил, о всех тайнах, которых я не раскрыл и обо всех врагах, которых я мог ненавидеть — и тогда я плачу о своей удовлетворенной слепоте, об ужасной глубине своей бессознательности, о непродолжительности своих желаний, тех великих пожаров, что освещают весь мир, и вдруг гаснут от одного дуновения...

Как больно укалывает тогда воспоминание о том, на что у меня не хватило смелости, о тех минутах, в которые что-то великое могло совершиться и которые никогда не повторятся, о тех путях, которые, как быстрые струи, внезапно открывались передо мной и навсегда пропали, о тех судьбах, на перекрестке которых я стоял, которые были предназначены мне, которые могли изменить всю мою жизнь и которые никогда больше не встретятся на моем пути...

И так сильно бьется мое сердце, что я останавливаюсь в тени высокого дворца и как бы жду, что в чем-нибудь найду отзвук своей грусти: в слабом аккорде скрипки, в нетерпеливом лошадином топоте, в печальном, как чувственность, припеве песни.

И это, думаю я, пройдет, умрет и рассеется в вечности; — все эти единственные моменты, невозвратные жесты и движения, все часы, дни и минуты, которые не вернуться. И сколько есть вещей, которых я никогда не видел, никогда не увижу, звуки, которых я никогда не слышал и не услышу, судьбы, которых я не знал и не узнаю, страсти, которых я не испытал и никогда не испытаю, загадки, которых я не отгадал и никогда не отгадаю.

Сколько жизней, потерянных для одного человека. И сколько форм и видов, потерянных для одного мира. И сколько возможностей, никогда не претворившихся в действительность; сколько способностей, никогда не сделавшихся силой; сколько комбинаций и разложений, ни разу не сложившихся, ни разу не выявившихся!

Неужели мир — только воспоминание о том, чем он должен был быть? Неужели моя жизнь только тень той жизни, которую я должен был прожить?

И в тени высоких, мрачных, безмолвных дворцов-темниц мои горящие руки дотрагиваются до холодных шероховатых камней, кровь быстрее пульсирует, и я чувствую, как весь краснею, но не от стыда, а от лихорадки, от бессильной жажды невозможного.

Но когда я всхожу к себе на башню и вижу три другие башни, такие черные на темноголубом небе, а в тени постели я вижу два неподвижных блестящих глаза, я вновь начинаю улыбаться; но если я случайно, в зеркале, увижу свою улыбку, я вздрагиваю от несказанного ужаса.

XIV.

ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ.

(Uomo tra uomini.)

I.

Представьте себе человека, замышляющего нечто ужасное, от чего содрогнулось бы самое смелое воображение; носящего в душе тайный замысел таких деяний, которые потрясут и нарушат ход истории, жизни человечества и всего мира; вообразите, что человек этот не может и не хочет еще открыть миру свою тайну, и что окружающие ничего не подозревают о том, что этот человек готовит. Представьте теперь восторг и муки этого человека! Молча и одиноко, быстрыми шагами, с сосредоточенным взглядом он бродит в толпе людей, и никто не смотрит на него с удивлением, никто не следует за ним, никто не сторонится его, не взглядывает на него со страхом. По внешности, он человек, как все. Он кажется подобным им по одежде, по лицу, по формам тела. Человек среди людей и ничего больше! Он проходит по запруженным народом улицам, и на него не показывают пальцами; на него смотрят, но его не видят; самое большее, если какой-нибудь праздношатающийся посмеется над его неприглаженными волосами и сомнамбулическим видом. Представьте теперь душу этого человека, человека, блуждающего со своей невидимой тайной среди слепых людей; молча и рассеянно проходит среди них тот, кто находит в себе нечто, могущее изменить всю их жизнь, их будущность, их судьбу. Вот он смешивается с толпой людей, касается их рукой, задевает их своим телом, но не хочет еще сказать своего слова, не хочет еще совершить того, что обратит все глаза на него, что

подчинит все воли его воле, что заставит прозреть всех слепцов и даст дар речи всем этим шакалам. Человек быстрыми шагами бежит вперед, неся в себе свои великие грезы, видит себя в момент откровения; все, как бы уже содеянное им, предстает перед ним, как в чудесном мире. Он уже испытывает мужественное наслаждение творчества; его отважное сердце бьется частыми ударами; его серые глаза расширяются, как в упоении плотской страсти.

Вообразите себе счастье этого героя безумной тайны. Представьте какую острую радость он испытывает, когда проходит среди равнодушной или насмешливой толпы, ничего о нем не знающей, считающей его своей ничтожной частицей, одним атомом своего большого тела, одним человеком среди толпы и ничем более. Толпа не знает, что ей уготовлено в мозгу проходящего человека. Она видит его серую одежду, его неровную походку, его длинные волосы, истощенное лицо — и не умеет отличить его от других ему подобных. И все же придет время, когда многие будут стараться вспомнить, когда и при каких обстоятельствах они его видели; когда ему будут приписываться слова, которых он никогда не произносил; когда некоторые будут клясться, что были его друзьями в период его неизвестности. Но пока он еще не Он, он только лишь номер, элемент, единица, гражданин, имя, карточка в реестре о рождении. Его день еще не пришел. Люди не умеют проникнуть по ту сторону его взгляда, они не подозревают, что в этом почти обыкновенном теле зреет мысль, способная начать новую главу в истории человечества. Он точно носит ночью под плащом зажженную лампу, которая ослепит тех, кто взглянет на нее, когда он приподымет плащ. Он точно бог, который проходит неузнанный и который заставит задрожать первого, с кем заговорит...

II.

Вообразите себе этого человека и его мысли, о вы, для которых я пишу, вы из бесчисленного множества слепых! И вообразите не как пустую мечту, не как минутную

фантазию. Представьте его себе, как возможную вещь, как нечто, что могло бы существовать, что может быть существует. Представьте его себе, о люди мимолетных взглядов! — как нечто реальное, существующее, близкое вам, живущее среди вас. Я говорю вам, что человек этот существует! Я говорю вам, что человек этот существует и готовится! Я говорю вам, что человек этот ходит по вашим улицам, входит в ваши дома, заглядывает в ваши зрачки... Человек этот бодрствует, мыслит, вооружается. День его еще не наступил, но он наступит... Его губы произносят одни только обычные слова, но в тот день они заговорят иначе. Он смиренно проходит среди ваших движущихся тел, но придет день, когда перед вами будет он один, и все его увидят, и каждый вспомнит, что был в жалкой жизни каждого мимолетный миг, когда он ждал его.

Берегитесь этого человека, люди толпы! Его тайна грызет и раз'едает его, но он не корчится и не обнаруживает своих страданий. Его греза восторгает его, но он не улыбается, не обнаруживает своего счастья.

Ужасный человек! На вид он только могила надежд; а между тем в нем огонь, готовый бросить искру, от которой загорятся все ваши грязные, полные опасностей города. Ищите его в толпе, бегите за ним все, сейчас же схватите его, и, может быть, вам удастся загасить его лампаду, задуть его огонь пеплом своих мертвых снов.

Будьте настороже, следите за ним повсюду. Быть может, в этот самый миг он подле вас, быть может, завтра он пройдет мимо вашего дома, и вы из своего окна проводите его взглядом; быть может, он тот, кто вчера оглянулся и пристально взглянул на вас, как бы силясь что-то вспомнить.

Вы не знаете, с какой стороны он придет. Вы не знаете, как его будут звать и откуда он будет родом. Подумайте о всех уже бывших откровениях, которым предшествовали молчание и неизвестность; о тех, кто видел Христа младенцем. Кто из них мог думать, что это дитя придаст миру новое значение, а людям новый ключ к жизни? Кто мог предвидеть, что эта белокурая голова склонится на кресте, что из бледных уст выльются те

великие слова, что будут исцелять немощных и воскрешать мертвых? Вспомните о всех тех, кто вдруг заговорили и сделались вождями, учителями, реформаторами, и кого никто не мог отличить от остальных до тех пор, пока они не сказали и не сделали того, что должны были сказать и сделать. Никто не спросил тогда себя, откуда они явились, никто не пытался вспомнить их первые слова, описать их наружность, их внешнюю жизнь. И когда они внезапно возвысились над всеми, вы, люди ослепленной толпы, удивились и в душе огорчились, что не предугадали готовившегося чуда. И теперь, повторяю я еще раз всем вам, несомненно подготавливается новое чудо. Каждый век должен иметь своих героев, своих учителей.

Сегодня среди вас ждет, невидимый и неподозреваемый, герой и учитель завтрашнего дня. Не может быть, чтобы он еще не существовал. Он живет в тени, лампада его еще закрыта, но он есть, он живет, он быстрыми шагами проходит среди вас; подобный вам, но не просто человек среди людей, а будущий пастырь среди своего стада, будущий вождь в среде своих воинов.

Я желал бы породить в вас предчувствие и ожидание этого господина жизни, который живет вашей жизнью, близко к ней, и которого вы не знаете и не подозреваете. Я хотел бы вызвать в вас, люди толпы, трепет перед внезапным явлением этого человека. Ищите его в толпе своих, ищите его неустанно; пусть никто не скроется от вас; пусть каждый взор вам скажет, не скрывается ли за ним тайна. Он существует и смотрит на вас; неужели вы не чувствуете, как тяжело его взгляд ложится на вашу жалкую жизнь? Он живет и ждет; неужели вы не чувствуете себя подавленными слишком долгим ожиданием?

Вот он среди вас — одинокий, молчаливый, с сосредоточенным взглядом... На одно мгновение он остановился и смотрит на вас. Но вот он снова быстро зашагал, и в растущей толпе и в опускающемся тумане он не более, как человек среди людей, тень среди теней, ужасная надежда среди тысяч слепцов.

XV.

ЧЕТЫРЕ СОБАКИ СОВЕРШИЛИ
РАСПРАВУ.

После двух посланцов, после письмеца, написанного на машинке, на полотняной бумаге, и трех или четырех звонких звонков по телефону я должен был решиться сказать «да».

Вечером, в шесть часов, экипаж остановился у моей двери прежде, чем я успел надеть чистые манжеты. Какая скука! Запонки не влезают, платок не отыскивается, сапоги грязны. Но разве не знает и он, что я бедняк и плебей? Стало быть, в путь!

Экипаж двинулся, покотился, вздрагивая меланхолически от немногих камней, которых грязь не покрыла еще. Он завернул в пригородные улицы, проехал с монотонной медлительностью анонимные аллеи новых кварталов, миновал заставу и стал приближаться к полям. Дождь капал с решительной регулярностью, как если бы он шел всегда, от самого начала мира. В тумане сквозь тусклые стекла светили редкие красные огни. В экипаже со мной было два человека, но я не обращал на них внимания. Я не в силах был переносить звука их голосов и предпочитал прислушиваться к скрипению песка, раздавливаемого колесами. Я слышал, что дело шло о нем, об его вилле, об его богатстве, об его жене, об его будущем, о длинной поэме, длинной без конца, мистически и социально длинной, какой-то американской Mahabharata, какой-то библии четырехтысячного года, когда и мы будем представлять собою средневековые. Но надоедливость дождя была лучше всяких, даже всяких сверхземных видений. Лошадь подвигалась мелкой рыс-

щей вперед, но потом остановилась, потом снова двинулась шагом. Нужно было в'ехать в гору; человек слез с козел, и его тень с кнутом под мышкой двигалась вперед и назад перед дверцами. Я постепенно узнавал дорогу: высокие, черные, крепкие решетки, сквозь которые я нюхал чайные розы и дразнил больших белых собак; мокрые стены с обвалившейся штукатуркой, покрытые зеленью, с мокрой известью и стеклом, натканным сверху... То была моя деревня: — уединенные прогулки в семнадцать лет, идиллии в пустоте, запахи едва раскрывшихся фиалок, желания, которые никогда не были выражены открыто.

Мы приехали. Какая скука! Вот распахнутая дверь: слуга смотрит суровым взором тюремного смотрителя, но если не улыбается, то потому только, что не имеет усов. Мы входим во двор. «Красиво, замечательно, великолепно! А вот — те колонны были также и раньше! Какой прекрасный вкус! Переводчик внушает нам восторг и, непростивший о том, дает все возможные разъяснения. Вот мы в гардеробной: такой маленькой, такой красивой, такой чистенькой. Появляется служанка: и она также! «Дайте ваш зонтик, дайте ваше пальто» — и затем... Какое удивление при виде меня в пиджаке — в простом пиджаке! И даже не в черном!

Лакей подходит ко мне со щеткой с намерением почистить мне башмаки. «Нет, дорогой мой, — отвечаю я ему мысленно, — разве ты не знаешь, что я такой же плебей, как и ты, и что мне нравится ходить своими собственными ногами, которые суть ноги человека, а не ногами животных». Но, чтобы не тратить многих слов, я отстраняю ноги и направляюсь в переднюю в запачканных башмаках и двигая нервнее обыкновенного руками.

Переводчик проводит нас в гостиную. Красные диваны, дубовые кресла, апокрифические и позолоченные мадонны, много электрического света и сирийские ковры. Я оглядываюсь вокруг: теперь нас четверо. Я и апостол, а потом переводчик и антикварий.

Что я сделал, что мне суждено было попасть сюда? Зачем я пришел сюда? Кого мы ждем? Чтобы успокоить мое нетерпение, я кладу свои руки на громадную книжи-

цу, покрытую старой выделанной кожей с резьбой. На переплете есть еще следы золота. Я открываю застёжки из меди, но в этот момент одна портьера поднимается и входит величественно, но бойко наш хозяин. Сам мистер Дейсон. Я вижу его в первый раз. Ему, пожалуй, пятьдесят: у него серая борода, открытый лоб, большущий белый галстук под подбородком и огромные руки. Это добрый малый, сразу видно. Крепкие и многочисленные пожимания руки: *How are do you thou?* — и: *I am very glad...*

Мы садимся на резную черную скамью, которая выше всех других сидений; мистер Дейсон посередине; я с одной стороны, апостол же с другой. Над нашими головами висит, как бы в виде комического наказания, портрет мистера Дейсона, написанный неким бесстыдным Уистлером. Будем говорить! Но о чем? Синьор Дейсон знает итальянский так же, как я американский, то-есть очень плохо. Он проглатывает начало какого-то итальянского вопроса; я бормочу половину ответа по-английски. Но разве нет переводчика? Вот он тут, как тут, весь улыбающийся, с лицом, бледным от усиленного мытья, и в белой манишке, одетый в черное, жестикулирующий порывисто, как механическая кукла, с ног до головы счастливый от своего посредничества между людьми. Так начинается серьезная беседа: имена Канта, Ницше проливают тяжелый воздух гостиной, который воняет калорифером и розами. О, сырой и свободный воздух, которым дышишь среди мокрых олив! Мистеру Дейсону сказали, что я философ, и он мучает меня философией. Он говорит медленно, судит, улыбается, поглядывает кругом, вопросительно вскидывает серыми глазами, задерживается на повторении своих аргументов; антикварий сопровождает его речь сардонической усмешкой, но переводчик улыбается в экстазе, как фарфоровый ангел, как какой-то маленький Будда. Я чувствую, как по моему лицу проходят дурные запахи еженедельного Бостонского журнала. Мы говорим уже о Шеллинге, добрались уже до Маццини. И белобородые мученики тоже профанированы в промежутке между двух улыбок перед коврами из Смирны. Я встаю: я не могу больше.

Что позвали меня делать в этой флорентийской вилле, побеленной, подправленной, подчищенной, реставрированной, убранной кружевами, устланной коврами и восстановленной вновь в американском вкусе? Меня позвали есть и вместо этого болтают натянуто и плетут всякую чепуху. К счастью, слышится шорох: входит синьора, мистрис Дейсон. Муж первый спешит ей навстречу и, кажется, так и ласкает ее своими большими, серыми, бычачьими глазами. Мистрис Дейсон хорошо сложена, — и для кого? Это женщина, увы, на последней границе молодости. Еще год, еще два, и она не сможет уже более говорить, что ей исполнилось тридцать пять лет в минувшем месяце. Она высока, вся одета в белое, декольтирована, но не слишком: две жемчужных нити обмотаны вокруг ее волос. Она смотрит на нас свысока своими темносиними глазами, словно она королева. Я тоже взглядываю на нее: ее кожа, слегка сморщившаяся, лицемерно морщинистая, вызывает во мне почти-что жалость. Однако, нужно поклониться также и королеве. Страшно элегантный переводчик бросается, чтобы перевести неизбежные комплименты.

Мои ограничиваются простым «добрый вечер». Тогда мистер Дейсон, заметив, может быть, мою печальную дикость, берет меня под руку и ведет меня посмотреть чудеса дома — и прежде всего чудеса гостиной...

— «Эта мраморная чаша времени Фидия, — утверждает евнуховский голосок переводчика, который следует за нами, как собака. — Эти материи — индийские; эти вазы из великой Греции; эти лазоревые блюда куплены в Персии; эта странная железная саламандра привезена из Сибири; это святое семейство принадлежит венецианской школе; эта картина моря написана знаменитым Серра, этот бюст относится к кватроченто и этот кинжал»...

О, красивый дамасский кинжал, с ножами, покрытыми красным бархатом, хорошо отшлифованным клинком и тонко отточенным концом!

«Почему бы этому синьору Дейсону не убить свою жену этим кинжалом?» — приходит мне в голову мысль. Прекрасная смерть для эстетов на вилле Фьезоле, в один холодный февральский вечер. Но синьор Дейсон недово-

лен: нужно следовать за ним в другие комнаты. Мы поднимаемся по лестнице, — она стала мягкой и молчаливой от ковров, — проходим по комнатам и комнатикам с мебелью из эпохи междуусобной войны и имитациями шестнадцатого столетия, арки с толстыми колоннами в тосканском стиле, затем длинные коридоры с офортами по стенам и обширные кабинеты с книгами повсюду, хорошо переплетенными, чистыми, нетронутыми, — книгами нечитанными. Мы выходим из спальни; мы снова поднимаемся, попадаем в другой кабинет, затем в другую ложу и выходим на открытую террасу с тростниковой мебелью, с громадными креслами, султанскими диванами, с суровыми и незначительными мраморными бюстами. Это — святилище мистера Дейсона, это — последнее укрепление его жизни, парадное место его размышлений. Ибо мистер Дейсон не заурядный человек; ибо это не просто один из многих американцев, приезжающих в Италию из экономии и чтобы потом сказать, что были там. Он — ученый человек, апостол, писатель, я могу даже сказать, поэт — с того момента, как это слово применяется ко всем тем, кто пишет стихи, а также и к тем, кто их не пишет. Нужно помнить, словом, что мистер Дейсон, подобно всем просвещенным людям своего века, социалист, но при этом не обычный или вульгарный социалист, а один из тех, которые произносят красивые речи в хорошо натопленных залах, печатают книжечки в красной обложке и приносят для братьев в жертву, хоть и не жизнь, — они пацифисты также и в домашних стенах, — но жертву, гораздо более серьезную, жертву нескольких сотен или тысяч пятифранковых бумажек. Словом, мистер Дейсон социалист представительный, социалист-роскошь. Если бы он остался в своей стране, он был бы главарем чего-нибудь, может быть, главарем всех социалистов; но он, подобно Вашингтону, предпочел удалиться с поля своих деяний. Он знает, что мир ожидает от него совсем другого, и что он не может лишить человечества того, что ему следует. Потому он взял свою жену и свои миллионы и приехал в Италию, чтобы лечить себе сердце и слагать поэму в пятьдесят песней. В то время, как рабочие мучаются около печей и под землей, он,

развалившись в полной воздуха итальянской loggia, сочиняет четверостишья, чтобы возвестить будущий счастливый век. Каждому свое призвание. Его дело — воспевать революцию после того, как он проглотил хороший обед под позолотами чинквечентистского потолка.

«Гнусный подлец, — говорил я себе, — у которого хватает храбрости писать в красных журналах и хотеть спасти народ! И ты стоишь здесь передо мной в шюртуке, в доме, который стоит полмиллиона, с семью человеческими тварями под твоей командой и десятью чековыми книжками в твоём бумажнике! И недовольный этим, ты являешься, чтобы поселиться именно тут, в моем доме, на самом нежном холме Тосканы, среди моих олив, среди кипарисов, в вилле моего народа, в красивом и крепком доме, который ты заполняешь и оскорбляешь своей ужасной антикварской и ньюйоркской мешаниной! Прочь отсюда, ради бога, прочь тотчас же!»

Думаю всерьез, что, не будь убийство наказуемо по своду уголовных законов, я бы схватил мистера Дейсона за горло и не отпустил бы его до тех пор, пока не почувствовал бы, что голова его беспомощно падает вниз на ковер. Он, должно быть, понял это и поспешил спуститься в гостиную. Из гостиной он пожелал, чтобы мы, хочешь — не хочешь, а вышли в сад. Открытые арки дома осветились. Мы ощупью пошли под дождем по направлению к большой террасе, которая, как отвес крепости, выдвигалась в долину.

«Отсюда, — говорил с победоносным видом мистер Дейсон, — видна вся Тоскана. Вот там Валломброза, там Пиза, там Апаунские горы, а с той стороны Муджелло, Вальдарно и небольшой кусок Казентино, — вся Тоскана целиком».

Не было ничего видно — только массивные черные профили сквозь туман и темноту, — но я все равно видел, видел всю мою землю, освещенную солнцем и божественную, с ее серебряными реками, с ее домами золотистого цвета и с ее окипарисенными горами, — всю мою землю под ногами этого втершегося к нам бородатого филантропа. Нет, нет и снова нет, говорило мое сердце. Но вокруг было темно и холодно. Ни один голос не отзывался

на мою ярость. Где же были древние и истинные хозяева этой страны? И никто не кричал!

Прислуга зовет нас сквозь туман с красного от света порога. Мы входим в дом. Смелее!

* *
* *

Наконец, богу угодно смиростивиться: возвещается, что обед готов. Мистер Дейсон подставляет мне руку; антикварий предоставляет себя в распоряжение синьоры; переводчик виляет хвостом, а апостол идет последний, нахмуренный и неврастенический более, чем когда-либо. Я оказываюсь за большим накрытым столом: передо мною пять стаканов, две тарелки, две вилки с одной стороны и два ножа с другой. Я вспоминаю о том, как обедаю в деревне один двумя ломтями салами в желтом листе бумаги, с куском домашнего хлеба, десятью пальцами вместо столового прибора и — небом и птицами над моей головой.

Рядом со мной сидит дама, которая до сих пор не попадала в поле моего зрения: это компаньонка мнимой королевы, секретарша синьора, может быть, учительница мальчика. Это прусская девица, которая говорит все время по-английски, а иногда по-итальянски. В том виде, как она есть, достаточно декольтированная и с красивыми южными глазами, она наиболее привлекает взор из женщин дома в виду того, что королева уже увяла, а служанки некрасивы.

В то время, как я проглатывал с некоторой неуверенностью какую-то клейкую мучнистую кашу, которая едва покрывала дно большой глубокой тарелки с псевдокрестьянскими узорами, мистер Дейсон возобновил беседу. Имена Фихте и Маццини снова прозвучали среди бормотания и сыплющихся трансатлантических слов. Белый галстук волновался и вздымался под подбородком красноречивого амфитриона. Синьора молчала и восхищалась; переводчик смеялся, соглашался и переводил; антикварий ел с наклоненной лоснящейся головой; апостол сообщал на ухо пруссачке трудные имена никогда

непереводившихся поэтов. Ярость делала меня еще более молчаливым, чем когда-либо. Я отвечал да и нет и против моего обыкновения ел мало. Но пять больших и малых стаканов, поставленных передо мною, не устрашали меня; я пил стакан за стаканом вино белое и красное, вино немецкое и французское шампанское с твердым намерением разогреться и устроить скандал. Беседа продолжалась. Мистер Дейсон, подобно зайцу, носился по полям американской истории. С бедным Эмерсоном было покончено в несколько взмахов: великий Уитмэн появился на один момент и получил полагавшуюся ему взбучку; Линкольн и Торо выступили из тени и появились в их настоящем свете — предтечей мистера Дейсона. И вида, что я пью, пил и он. На столе появлялись друг за другом куски жареного, горы моркови, картофель без приправы, хлебцы, залитые белым густым соусом, вареный сельдерей, обезображенные птички, оливки соленые и полусоленые, но мистер Дейсон не обращал внимания. Он жадно пил и говорил, и социальная революция пенилась в его словах, как бокал шампанского. Я понимал наполовину, но все равно потел. Острота антиквария отклонила было на один момент беседу в другую сторону, и даже королева удостоила приоткрыть уста в маленьком споре между переводчиком и апостолом. Но сеньор Дейсон снова завладел разговором и уже более не умолкал.

Мы лавировали в сфере самой высокой метафизики: даже прибытие большого шоколадного пирожного не прервало неподходящего сопоставления между Платоном и Аристотелем. Но внезапно мистер Дейсон оставил философию. Подходил уже конец обеда и бутылкам, — вакхический момент низкого филистерского оптимизма.

«Три вещи, — возвестил мистер Дейсон, громким и довольным голосом при всеобщем молчании, — три вещи исполняют меня добрых надежд насчет мира. Первое это то, что нет на свете создания более совершенного, чем сеньора Дейсон; второе это то, что права пролетарских масс признаны самими теми, кто должен был бы их отвергать; и третье это то, что я нигде не вижу никого, кто был бы на меня похож».

И, сказав это, он опрокинул себе в рот еще один бокал шампанского. Королева покачала с видом сожаления ожемчуженной желтой шевелюрой, но было видно, что она на верху блаженства; переводчик захохотал своим отрывистым смехом, своим механическим смехом *made in Germany*; другие усталились в широкую вазу, полную ландышей, которая стояла по середине стола, и не имели храбрости засмеяться. Я возмутился: мне это стало противно до тошноты.

Я поднялся среди всеобщего удивления; я чувствовал, как у меня горело лицо. Я взглянул в глаза мистеру Дейсону; он открыл рот, может быть, чтобы спросить меня, что со мною, но в этот момент послышался лай собаки. Сеньор Дейсон не преминул воспользоваться удобным случаем и воскликнул:

«Мои бедные собаки, сегодня я не звал их сюда. Хотите видеть моих собак?»

И говоря так, он тоже поднялся со своего места и пошел к двери. Я упал назад на стул, униженный и обескураженный глупым оборотом дела. Сеньора начал уже брать страх. Пруссачка клялась мне тихим шопотом, что собаки плохо воспитаны и свирепы и так прыгают при встрече, что часто разрывают одежду у хозяев. Я услышал большой шум передвигаемых стульев в соседней комнате и беспорядочное скаканье. Четыре пса влетели галопом, виляя хвостами, хлопая ими по стульям и столам, шумно сопя и прыгая, как звери, выпущенные на свободу. То были четыре маремманских собаки¹⁾, высоких, сильных и молодых. Среди них была самка, самец и два мощных щенка, таких же высоких и мускулистых, как и их родители. Мистер Дейсон, стоя среди них, казалось, хотел утихомирить их знаками, и его грудь подымалась от гордости, как у молодого укротителя, стоящего среди львов. Собаки кружились по комнате, фыркали, клали свои лапы на спину всем, насупливались, показывая ряды зубов.

И тогда-то у меня отрыгнулось воспоминание, и я сразу

¹⁾ Мареммой называются в Италии приморские болотистые полосы. Существует, например, тосканская маремма. (Пр. пер.)

же почувствовал уверенность в мести. Живя с пастухами в горах, я выучился свисту, которым сзываются маремманские собаки и пускаются в атаку на волков и воров. И вот, среди всеобщего изумления, я стал свистеть — свистеть, сколько было мочи в моих легких и со всею силою моей ярости. Славные животные поняли, вспомнили и, хоть и были приучены к рабству, все же повиновались старому инстинкту. Не слушая окриков, они набросились на всех, покусали ноги синьору, порвали белое платье синьоры, повалили на землю маленькую пруссачку с ее стулом, бросались на переводчика, стащили скатерть со всем, что было на столе, со всеми цветами, хрусталем и разукрашенными блюдами, лаяли и визжали, как бешенные и скакали повсюду, разбивая, ломая, разрушая и переворачивая все вверх дном. Красивая столовая с белой скатертью, грациозной лампой, душистыми букетами и резными стульями, казалось, превратилась в ад, в котором четыре мохнатых демона усердно занимались мучением семи осужденных. И я свистал еще и еще, и мне отвечал яростный лай, покрывая вопли, крики и плач осажденных. Великодушные маремманские животные привели в осуществление мечь, о которой люди не смели и думать, со всем пылом, прирожденным их мощному племени. Не стану ни от кого скрывать, что у меня гора свалилась с плеч, и я почувствовал себя сразу же удовлетворенным. У меня тоже были порваны штаны, была покусана рука и залит вином пиджак, но я не обращал внимания на это; мои глаза, должно быть, искрились, как глаза какого-нибудь Мефистофеля в хорошем настроении духа. Теперь мне было нечего делать тут. Прибежали слуги, чтобы связать собак, и голос мистера Дейсона совсем переменился. Пользуясь общим замешательством, я выскользнул из комнаты, поспешил взять шляпу и пальто и бросился вон в то время, как собаки еще ворчали и визжали среди хриплых человеческих окриков. Я вернулся домой пешком под дождем, и когда раздевался, чтоб лечь в постель, то заметил, что мои сапоги грязнее обыкновенного.

XVI.

ХОРОШЕЕ ВОСПИТАНИЕ.

Прошлой зимой я имел обыкновение каждое утро, кроме воскресных дней, возвращаться домой в полдень. Не всегда это было точно в полдень: и даже чаще всего до полудня не хватало нескольких минут, или же бывало несколькими минутами позже. Эта привычка — очень распространенная, весьма мешчанская и совершенно не поэтическая, имея в виду ее естественную цель, которая всем известна. И тем не менее мне приходится говорить о ней, так как я отчасти ей обязан тем, что сию взаперти здесь в платной комнате наиболее обширной городской тюрьмы, ожидая со дня на день, когда меня позовут в суд отвечать за некоторые мои недавние поступки.

Я уже рассказал следователю, как протекали события, и заметил, судя по некоторым скептическим взглядам и удивленным сострадательным жестам, что мне не удалось его убедить. Нечего сказать, есть чему удивляться? Вот послушайте.

Первый раз я встретил певца, о котором идет речь, насколько могу припомнить, в середине ноября. Полдень только-что миновал, и, как я сказал, я возвращался домой, по обыкновению быстро шагая и задумчиво глядя моими близорукими глазами, под влиянием неизвестно какой мысли. И вот, когда я перешел мост и достиг, наконец, небольшой площади, которую должен был пересечь, чтобы завернуть в мою улицу, то-есть почти-что на углу, мимо меня прошел господин, не очень высокий, скорей толстый, но бледный, с подрезанными усами, с большой белой папиросой, свешивавшейся изо рта. На его сапогах были гамаша голубино-го цвета. Этот человек поднес руку к скромной черной шляпе, снял ее и по-

клонился мне приветливо, не улыбаясь, однако, при этом и ничего не говоря. Я был так ошеломлен, — ибо совершенно не знал этого человека и видел его в первый раз, — что не отвечал на приветствие и продолжал мой путь.

С этих пор, возвращаясь домой в полдень, я всегда встречал этого человека и почти всегда на одном и том же месте. Я встречал его, если возвращался раньше полудня, и встречал его, если возвращался немного спустя, а также и тогда, когда случайно выходило, что я возвращался в точности в полдень. И всегда на этой небольшой площади, так что вся разница между одним и другим днем не превышала сорока или пятидесяти шагов. Человек имел всегда во рту повисшую, едва тлевшую папиросу, и всегда приветствовал меня, приподнимая свою черную шляпу и едва взглядывая на меня беглым взором. Три или четыре раза я не отвечал на приветствие, думая, что это ошибка, и не имея, с другой стороны, никакой охоты начинать разговор и спрашивать разъяснений. Но вежливый человек не падал духом и не обижался, и каждый день, в честь меня, его черная шляпа оставляла на минуту его каштановую голову. В конце концов я должен был сознаться себе в невежливости и забывчивости: я предположил, будучи преисполнен добрых намерений, что познакомился с этим человеком в каком-нибудь месте, что я видел его один только раз и несколько минут и что у него лучше память на лица, чем у меня. Под влиянием этих размышлений я решил однажды ответить на приветствие, и когда черная шляпа приподнялась, я слегка прикоснулся к моей серой фетровой шляпе. Мой ответ был не очень-то сердечен, ибо, подумайте сами, моя шляпа не оставляла даже моей головы; и тем не менее, было достаточно этого начала, этого жеста, этого обещания приветствия, чтобы человек вынул папиросу изо рта и улыбнулся мне с видом понимания. Но другого ничего не случилось в этот день. В дальнейшем, — теперь шел уже декабрь, — так как я продолжал всегда прикасаться к моей шляпе и, может быть, даже приподнимать ее с любезным видом, улыбка незнакомца сделалась более открытой и, наконец, превратилась в приветствие: «добрый день», до того сердечное и произносимое

таким гармоничным голосом, что я почувствовал некоторое смущение от моего молчания. К «доброму дню» присоединилось через несколько встреч также и «хорошего аппетита», и приподнимание шляп продолжалось с обеих сторон. Курьезно то, что, несмотря на такую дружбу, мы еще ни разу не останавливались и не говорили друг с другом. Как я, так и он имели обыкновение ходить быстро, а для приветствия было достаточно момента непосредственной встречи.

Эти странные отношения длились в такой форме некоторое время. Если бы у меня был другой характер, я бы постарался поближе познакомиться с новым другом; я бы заставил его поговорить, спросил бы его, по крайней мере, как его имя. Но я, напротив того, питаю стародавнюю, естественную и невольную симпатию к вещам необычным и слегка экстраординарным; и естественной моей боязнью было, чтобы тот другой не разрушил очарования, превратив эту ежедневную, но длящуюся один миг и анонимную дружбу в обмен визитами, сплетни и чашки чая.

То, чего я боялся, случилось. Мы дожили до конца апреля, все с той же самой системой, и если сердечность возросла, то приветствия не увеличились значительно по своему числу. Но в то несчастное утро, — это было, как то явствует из актов, второе мая, — неизвестный друг, едва увидевши меня, вместо того, чтобы поднести руку к шляпе, пошел мне навстречу с самым серьезным видом, протянул мне руку, которую я естественно должен был пожать, и сказал мне внушительно:

«Сегодня вы мне нужны. Ожидаю вас в пять часов с точностью у ворот Сан-Джорджо».

И он прошел быстро мимо, как обыкновенно, но не говоря ничего другого и не приподнимая шляпы. Я провел эти пять часов, полный беспокойства и любопытства, и кончил тем, что ничего не мог сделать для себя. В пять часов я был у ворот Сан-Джорджо. Толстый и бледный человек поджидал меня и пошел мне навстречу с протянутой рукой.

«Извините, — сказал он низким голосом и как бы немножко стыдась, — наши отношения немного странны,

я знаю это. Будет лучше, если я вам тотчас же представлюсь: меня зовут Джузеппе Севери, я учусь пению, у меня тенор, я должен был бы дебютировать в этом году».

«А я»... начал было я.

«Это неважно, — подхватил тот стремительно, — это неважно, я знаю, кто вы, я знаю это уже давно. Будьте так добры, извините меня: таков уж мой метод заводить знакомства. Меня научил ему один англичанин, и почти всегда удается. Мы не всегда уверены, — но лицо, жесты, манера ходьбы... Это случай, я знаю, — но ведь и знакомства, которые завязываются во время разговоров, в театрах, в под'ездах, в кафе, тоже случайны. Как встретиться, худо ли, хорошо ли, — одно и то же. Вы понимаете почему и простите меня».

«Даже»... начал было я с намерением сказать ему, что я отнюдь не был недоволен.

«Не будем говорить больше об этом, — отвечал синьор Севери, возвышая голос. — Не для этого я остановил вас. Теперь все уже сделано. Сегодня вы мне нужны. Пойдемте домой ко мне».

Мы пошли в сторону аллеи, среди низких стен, покрытых фресками. В воздухе не было ничего весеннего, и небо было полно белыми облачками, и глазам было больно смотреть.

«Я живу тут поблизости, — продолжал тенор, — и дома нет никого, кроме моей жены. Мы одни, совсем одни, и это-то причина, почему вы мне нужны. Еще недавно у нас было много друзей, но теперь... Не знаю почему: мои друзья меня покидают. Правда, не все по своей воле. Некоторые должны уехать из-за дел или для того, чтобы поселиться в другом месте. Других я должен был выгнать из дому, должен был запретить им появляться предо мною. И затем еще моя жена... Моя жена русская и, как вы можете себе представить, немного больна и капризна. Все русские за пределами России таковы. И она тоже имеет свои антипатии, и я должен был удалить некоторых моих друзей с большой политичностью. И затем она имеет тоже свои симпатии, и этого я не могу позволить».

В этот момент тенор повернулся ко мне и посмотрел на меня с видом решительным и предостерегающим.

«В результате, — продолжал он, — мы остались совершенно без друзей, без знакомых, без отношений и, чтобы сегодня не пить чай в одиночестве, — что повело бы бог знает к каким сценам, — я должен был прибегнуть к вам... Вы не откажетесь, не правда ли, выпить чашку чая? Это будет с вашей стороны любезность, которой я никогда не забуду».

«Мне это доставит только одно удовольствие, — отвечал я. — Но в душе, чтобы сказать правду, я думал совсем противоположное. Я не мог вляпаться хуже. Певец, который не поет, ревнив и раздражителен. Жена — русская, капризная, а кругом пустыня... Но теперь я уже не мог ретироваться и отказаться. И я следовал за моим новым другом, молча, под печальным, белым и тяжело насупившимся небом. Через несколько минут мы подошли к черной и скромной решетке, вставленной в низкую стену кирпичного цвета. Тенор позвонил, и решетка открылась. Мы пересекли маленький садик, запертый между стенами и железными сетками. В глубине был дом, маленький, низкий и весь черный. Штукатурка вся была снята, и стены были покрыты блестящим слоем смолы или дегтя.

«Это против сырости, — сказал синьор Севери по поводу дома, — скоро все будет закончено».

Мы вошли в переднюю, где была только вешалка, занятая тряпками и шляпами всякого рода. Тенор пригласил меня пройти в комнату налево: в середине стоял круглый стол, сервированный для чая с некоторой дозой роскоши, три стула вокруг и в стороне корзина, — и больше ничего. Новый друг оставил меня там одного и пошел позвать жену. Вскоре появилась и синьора. Она не была красива, как я и предполагал. Это была женщина за сорок, высокая, худая. Красивы у нее были только большая, светлая шевелюра и немного зеленые глаза. Едва только она увидела меня, как бросилась ко мне, взяла обе мои руки, пожала их, заглянула мне в глаза и улыбнулась так, как будто бы она теряла сознание от удовольствия.

«О, как вы любезны и добры, что пришли! Сколько времени я жаждала вас видеть! Спросите у Пеппино. Он мне много рассказывал о вас. Я знаю все и следила внимательно за всеми моментами вашей дружбы. Я ждала этого дня, чтобы получить возможность сказать вам, как я вам признательна. Вы наш спаситель».

Спиртовка была зажжена, вода вскипела, и чай был налит. Синьора только все время и делала, что глядела на меня и разговаривала со мной. На столе были великолепные сандвичи и пирожные. И она хотела напитать меня, как будто бы я собирался на остров, где свирепствует голод. Моя тарелка была всегда полна и чашка не оставалась пустой. Будучи вынужден то благодарить за любезности синьору, то отказываться, я не имел времени для того, чтобы уделить достаточное внимание мужу, который пил чай, яростно куря свои большие папиросы и не прикасаясь к закуске. Синьора ни разу не обращалась к нему ни с одним словом и даже избегала, как мне показалось, смотреть на него.

В конце концов я заметил его раздражение и чувствуя опасность, но, не понимая, что побуждало эту женщину пускаться в ход интриги, я встал и сказал, что должен непременно уйти. При этих словах синьор Севери повеселел и сказал, что я не уйду прежде, чем не увижу дома. Я должен был подчиниться, тем более, что синьора уже взяла меня под руку и направилась к двери. Меня ввели в большую комнату, где не было ничего, кроме пианино из красного дерева в углу. Правда, там стояла еще маленькая софа, но она была завалена вся книгами и партитурами. На стене были развешаны в виде трофеев фехтовальные маски и рапиры. Я стал их рассматривать с любопытством, так как в этой комнате не было ничего другого, что останавливало бы на себе взор.

«Они нравятся вам? — спросил синьор Севери. — Вы умеете фехтовать? Хотите их испробовать?»

Я стал уверять его, что совершенно не умею фехтовать и что никогда не брал в руку рапиры, но тенор, внезапно возбудившись и придя в хорошее настроение, уже снял одну из больших масок со стены и надел ее себе на голову.

«Возьмите другую, — сказал он мне, — возьмите рапиру. Попробуем. Вот уже пятнадцать дней, как я больше не упражняюсь. А мне это нужно».

Я должен был, таким образом, насильно закрыть себе лицо маскою и взять в руку рапиру.

«Перчаток нет, — продолжал мой странный противник, — но это не важно. Все равно попробуем. Берегите руки. Вперед. Становись!»

Синьора глядела на нас с удивлением и была в плохом настроении. Она села на партитуры, лежавшие на софе, нетерпеливо жестикулируя.

«Вперед! Вперед!» — кричал тенор.

Я на самом деле не умел фехтовать, — как то смогут подтвердить на процессе многие свидетели, — и потому, припомнив, что единственным средством победить является нападение, и желая быстро покончить со всем этим, я стремительно бросился на противника, сломя голову нанося удары.

«Будет! Будет!» — закричал он разом. Я опустил рапиру. Синьор Севери показал мне свою руку: она вся была фиолетовая от ударов, которые я нанес, а из одной царапины капала на землю кровь. Синьора смотрела на меня с восхищением. Муж заметил это и сказал, глядя мне в лицо и с трудом сдерживая свою ярость:

«Я не думал, что имею дело с невежей».

«С невежей? — отвечал я. — Что значат эти слова? Разве я не предупреждал, что я не имею представления о том, что такое рапира?»

«Но незачем было, — отвечал тот, — бросаться на меня, как дикое животное?»

«Животное это вы, — сказал я, — вы, который принудили меня делать то, что я презираю. И кроме того прошу вас припомнить, что не я искал знакомства с вами, и не я хотел испробовать рапиры!»

«Лишние слова, синьор, — отвечал тот, побледневши, — я сказал, что вы невежа, и повторяю это здесь. Я в моем доме. Мы еще увидимся».

В этот момент синьора начала кричать и тихо плакать.

«Но Пеппино, Пеппино, ты с ума сошел, что ты говоришь?»

Единственным ответом на эти вопросы была пощечина, которую синьора получила без особого удивления.

«Проваливайте отсюда! — сказал синьор Севери, — уходите, пошли прочь! Я не хочу вас видеть. Я тут хозяин, это мой дом. Вы меня оскорбили, помните это».

«И оскорблю вас еще раз, подлый человек», — промолвил я, рассерженный этой сценой.

«Хорошо, хорошо — до завтра! А сейчас вон отсюда!»

Ничего другого не оставалось делать. Я вышел из дома, постоял немного у решетки, чтобы послушать, не несутся ли крики из дома, и через несколько минут вернулся в город, совсем спокойный, несмотря на только-что пережитую странную историю.

Последующее всякий может предугадать сам.

На другой день два синьора принесли мне вызов тенора и после того, что я сказал, я должен был принять его. Я выбрал себе секундантов и сказал им, что отнюдь не боюсь драться, несмотря на мою полную неспособность ко всякого рода оружию.

Встреча была решена, и оружием избраны были пистолеты. — Я выстрелил случайно, и тем не менее тенор умер от раны после двухдневной агонии.

И вот я здесь в ожидании приговора. Но разве я виновен? Не кажется ли вам, что в этом деле есть что-то напоминающее самоубийство.

Не он ли хотел познакомиться со мной, начал мне кланяться, привел меня к себе в дом, захотел драться в шутку и затем пожелал драться всерьез? Не кажется ли вам, что между первым прикосновением к шляпе и последним пистолетным выстрелом есть тесная, железная, преднамеренная связь, — сознательная помощь судьбе?

Я был только ее орудием.

Я не виноват. На моей совести нет его крови. Мои адвокаты скажут это на процессе и объяснят с помощью философии всю тайну этого происшествия. И если случится, что я буду осужден, я навсегда потеряю веру в хорошее воспитание.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Предисловия. Перев. Р. да Рома	
К поэтам	17
К философам	19
К людям с эрудицией	23
I. Невозвращенный день. Перев. Ю. Балтрушайтиса	25
II. Человек, который не смог быть императором. Пер. Р. да Рома	33
III. Обыкновенный человек. Перев. Р. да Рома	37
IV. Последний визит больного джентльмена. Перев. Р. да Рома	43
V. Дьявол рассказал мне. Перев. Р. да Рома	49
VI. Искушенный дьявол. Перев. Р. да Рома	55
VII. Тот, кто не умел любить. Перев. Р. да Рома	61
VIII. Советы Гамлета. Перев. Р. да Рома	67
IX. Пророчество узника. Перев. Р. да Рома	75
X. Просьба водолаза. Перев. Р. да Рома	81
XI. Убегающее зеркало. Перев. Р. да Рома	85
XII. Я не хочу больше быть самим собой. Перев. Р. да Рома	91
XIII. Элегия о том, чего не было. Перев. Р. да Рома	95
XIV. Человек среди людей	97
XV. Четыре собаки совершили расправу. Перев. Б. Яковенко	101
XVI. Хорошее воспитание. Перев. Б. Яковенко	111



15

Напечатано Книгоиздательским Отделом
Торгового Представительства Р.С.Ф.С.Р.
в Германии